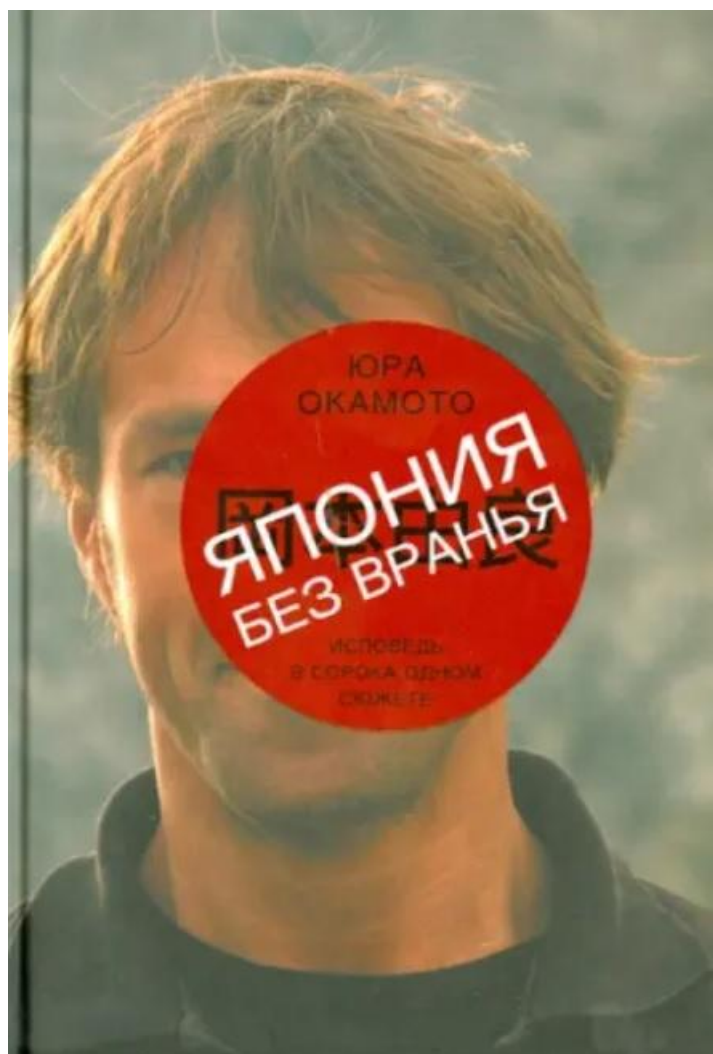




Юра Окамото
ЯПОНИЯ БЕЗ ВРАНЬЯ
исповедь в сорока одном сюжете
ПРЕДИСЛОВИЕ

В Японии весна, для меня уже девятнадцатая. К моему дню рождения, как всегда, расцвела и опала сакура, начинается унылый сезон дождей, одежда, вывешенная на улице, уже отказывается высыхать, и, как всегда в это время года, меня начинают донимать мысли о том, что же я здесь делаю.

Девятнадцать лет назад, живя там, где вырос, я чувствовал себя совсем иначе. Всё окружающее имело некую данность, дождь пахнул дождём, трава — травой, выражения лиц толпы объясняли мне без слов и день недели, и смысл нашей совместной жизни, и кто я такой — для себя и для них. Я жил включённым в эту данность, хоть, быть может, и не всегда этого желая. В Японии этой данности нет.

После девятнадцати лет в стране многое начинаешь понимать. Прочитываются выражения лиц, различаешь типы, чувствуешь и доброту, и агрессию. Труднее найти себя, скажем, во временах года, в дожде, который пахнет не дождём, а чем-то другим, в запахе земли в горах, рыхлой и не по-русски буйной, в копошащихся в ней незнакомых насекомых, которые сворачиваются в аккуратный шарик, когда их трогаешь. Под рукой есть слова,

чтобы назвать и выражения лиц, и дождь, и обычаи, и насекомых, но слова тоже совсем не данные, не очевидные, а выученные уже после двадцати, слова, которые отвечают на каждый конкретный вопрос, но не объясняют чего-то главного, не дают полной уверенности, что ответы верны.

Наверное, есть два способа жить в другой культуре.

Один — путём перевода. Любую культуру можно перевести, подвести к знаменателю своей — и понимать чужой дождь, объясняя для себя его разницу с родным, понимать эмоции и обычаи, сравнивая их со своими, понимать каждое слово так, как объясняет его словарь, по необходимости добавляя к нему свои комментарии — на родном языке. Так жить гораздо легче, но жизнь эту трудно назвать жизнью в другой культуре — в конечном счёте всё окружающее укладывается в уже давно заложенные в тебя ячейки, анализируется на основании родного и привычного, и ты живёшь, как улитка, которая чувствует себя как дома везде. Я выбрал себе второй способ.

В этом втором ты берёшь всё, чему научила тебя первая культура, откладываешь это в самый дальний и пыльный ящик на чердаке — до лучших времён — и выучиваешь вторую так, словно не знаешь ничего другого, так, как учат культуру дети. Для каждого факта и каждого слова приходится находить новые ячейки, постепенно выстраивая их вместе, находя связи и логику между ними. Чаще всего они напрочь отказываются слушаться, не пахнущий дождём дождь остаётся таковым, даже с неуклюже наклеенным на него японским словом, эмоции и насекомые остаются чужими, сколько ни пытаешься объяснить их себе японской логикой. А иногда — иногда что-то щёлкает и входит в свой паз.

Эта книга о японской культуре — продукт второго пути. Это попытка понять культуру не снаружи, а изнутри, после девятнадцати лет в стране. Она написана культур-антропологом в самом живучем, хотя едва ли научном направлении этой науки: в направлении кухонной антропологии.

Я старался писать только о том, что пережил и с грехом пополам переварил сам, о важном, чему меня научила эта странная культура, в которой есть с десятков способов сказать «я» и столько же способов сказать «ты». И предназначена она для тех, кому интересный вопрос ближе, чем правильный ответ. Кто любит думать своей головой и не боится оставаться дилетантом. Для тех, кому действительно интересны люди — как свои, так и чужие.

ЯПОНИЯ БЕЗ ВРАНЬЯ

1. ГОРНАЯ ОБЕЗЬЯНА

Умерла прабабушка моих детей. Умерла без боли, тихо — так, что сидевшая у постели дочь этого сперва и не заметила. Её недолго любили, и на похоронах плакало всего четверо — моя жена, сестра жены, моя маленькая дочь и я сам. Даже не знаю почему.

Когда я впервые с ней встретился, она уже плохо понимала происходящее, не поняла и того, кем я ей прихожусь. Маленькая, но с хорошей осанкой, она чинно сложила руки перед собой, низко поклонилась и ещё крепким голосом отчеканила мне своё приветствие:

— Я же горная обезьяна, вы уж простите, если что не так.

Первые двенадцать лет своей жизни она прожила в хибаре дровосеков в нескольких километрах от далёкой горной деревеньки на самом севере префектуры, за которой уже только горы да медведи. Каждое утро она вставала затемно, готовила приёмным родителям еду на день, потом шла вдоль горного ручья вниз, к деревне. Завидев спускавшуюся с горы фигурку, родители торопили своих детей: «Гляди, вон уже и Масако с горы спускается!», — и все вместе дети шли вдоль реки к следующей деревне, побольше, где была школа. Ни

первой деревни, ни второй уже нет — обе были затоплены, когда горную речку перегородили, чтобы построить электростанцию, — но в горстке домов, оставшихся вокруг грязного плотинного озера, до сих пор говорят на диалекте, от каждого слова которого хочется или хохотать, или переспрашивать у говорящего, что тот хотел сказать.

Один из её братьев стал полицейским в городе у устья реки, дослужился до начальника отделения и, когда ей было двенадцать, письмом позвал её жить к себе, чтобы она училась в городской школе да вышла в люди. Она долго шла вдоль реки, и когда вышла к деревне ещё ниже, в которой прежде никогда не бывала, деревенские мальчишки начали дразнить её, крича: «Горная обезьяна! Горная обезьяна пришла!» Она спряталась в зарослях, долго ждала, пока те не разошлись по домам, и только потом продолжила путь.

Над ней издевались и в женской гимназии, высмеивали каждое её слово. Она пыталась выучиться говорить, как они, но язык провинциального города, который по меркам большой Японии тоже был и остался диалектом, давался ей с трудом, и она всё больше молчала, усердно занималась рукоделием, кончила школу с отличием и стала учительницей домоводства. Смешки других учителей она терпела всего год — старший брат подыскал ей жениха из той же деревни, тоже учителя, и, выйдя замуж, она немедленно бросила работу.

Как она жила дальше, я толком не знаю — вроде бы долго болела женскими болезнями, лежала по больницам, отчего детей, да и внуков, в основном растил её муж, тихий и добрый учитель японского языка. Потом она выздоровела, но, привыкнув за время болезни лениться, и здоровой не стала заботиться о семье. Она мало выходила из дома, была своенравна и требовательна, раздражалась по пустякам и до последних лет жила без друзей. К восьмидесяти она начала терять кошельки и блуждать по дороге из магазина — началось старческое слабоумие. На будни её стали отвозить в дом престарелых, и там она начала меняться. Куда-то пропала раздражительность, она стала больше улыбаться, в ней появилась незнакомая даже её дочерям кротость. Она тихо напевала никому не известные деревенские песни, рисовала детскими штрихами сцены праздника в деревне, которая давно уже пропала на дне грязного озера далеко в горах... А на выходные, когда родители моей жены привозили её к себе, она сидела в уголке и мастерила удивительной красоты тэмари — плетёные шары для девичьих игр, в которые уже никто и не помнит, как играть. И беспрестанно благодарила всех за всё.

На её восемьдесят восьмой день рождения собрались все родственники, человек сорок, и она сидела в центре, не понимая, что празднество — в её честь. Когда все ушли, я катил её кресло-каталку по коридору ресторана к машине. Коридор освещал ряд ламп в европейском стиле, колёса шуршали по ковру, а она всё извинялась за то, что горная обезьяна, всё спрашивала, как оказалась в таких хоромах. Я не помню, что ей отвечал. Помню, как положил ей руку на плечо, помню жёсткую кость, обтянутую тонкой старческой кожей.

Когда её тело сожгли, родственники парами по очереди подходили к горке костей, каждый брал по одной железной палочке, вдвоём ухватывали по косточке и укладывали их в урну. Вместе с оказавшейся рядом родственницей я ухватил кость побольше, уложил её в урну. Секунду стоял, глядя на висевшую над горкой костей фотографию, уже добрую, снятую после происшедшей в ней перемены. На фотографии она смотрела куда-то вбок, будто не замечая фотографа, непонимающая и счастливая, старая женщина с деревенским праздником в глазах.

Я обернулся, чтобы передать палочку стоявшему за мной сыну. И увидел в нём её черты.

2. КАРАТЕ КАК СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ НОВОЕ ТЕЛО

Как подобает примерному гайдзину, вскоре после приезда в Японию я отправился в маленький додзё на склоне горы, приобрёл белое одеяние и белый же пояс и начал заниматься карате.

Каждая тренировка начиналась и кончалась челобитием, все мы — от детей, только что

научившихся ходить, и до стариков за шестьдесят — синхронно выполняли одинаковые движения, и ощущение было такое, как когда я впервые оказался за рулём машины на скоростном шоссе — словно ты лишён свободы, лишён права выбора и намертво встроен в поток. Каждое движение регламентировалось словами учителя, тело будто переставало быть твоим, а голова, привыкшая за много лет принимать решения и командовать телом, оказывалась вдруг штукой совершенно лишней, все функции которой сводятся к пассивному наблюдению и ненужной саморефлексии. Но и эта функция со временем всё слабела, слабела индивидуальность — за ненадобностью, — пока я не оказывался одним из многих таких же, одетых в белое, делающих совершенно одинаковые движения. Перед самым концом тренировки мы все садились, чинно подложив ноги под себя, закрывали глаза и твердили в унисон три главных принципа нашего додзё:

1. Главная цель идущего по дороге карате — укреплять тело и совершенствовать дух.
2. Карате подобно кипятку, и если вечно не подогревать его, оно превратится в обычную воду.
3. Карате начинается и кончается поклоном.

Потом последнее челобитье у порога — и свобода. Мой дом был в низине, поэтому всю дорогу обратно велосипед катился сам, и я замирал на нём, сам не зная, что делать с моим неожиданно полученным обратно телом, каким-то другим, незнакомым.

Занятия карате по большей части состоят из бесконечных повторений так называемых ката — буквально слово значит форма и выражает последовательность ударов и блоков. В ката регламентировано абсолютно всё — положение всех частей тела, скорость каждого движения, состояние каждого мускула в каждой позе. Казалось бы, карате не даёт человеку ни единой возможности проявить себя, словно стирает личность, превращая тебя в хорошо отлаженную механическую игрушку.

На моей полке стоит книга под названием «Ката пути карате». В её предисловии некий великий и ныне покойный сэнсэй написал следующее: «Ката обуславливает форму движения, но не сердце того, кто её исполняет. Ката — выражение духовной культуры человека, и поэтому, воспроизводя её, ученик растёт, созидая собственное сердце».

С западной точки зрения — бред сивой кобылы. Для европейца любое искусство — способ выразить себя, и человек набирает технику, скажем, живописи или игры на музыкальном инструменте, для того чтобы потом взять свой внутренний мир да этой техникой его выразить. Если, конечно, ты творческая личность и внутренний мир у тебя там, где положено. А тут выходит, что сама техника берёт тебя в тиски, да так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть, сердце твоё оставляет вроде бы в покое, но его же по дороге и созидает.

После девятнадцати лет в Японии, большую часть которых я так или иначе продолжал заниматься карате, мне кажется, что я понимаю, в чём тут дело. Выполняя ката, ты впускаешь в себя движения давно уже покойных людей, даёшь им завладеть своим телом. И за годы, которые ты проводишь в механическом повторении, движения формируют тебя, делая из тебя что-то новое. Ты никогда не сможешь стать кем-то ещё — покойным великим сэнсэем или же братом японцем, который производит, казалось бы, совершенно те же движения рядом с тобой. Ты меняешься только так, как дано тебе. Чем больше ты меняешься, тем больше твои новые решения и движения — часто и не связанные с карате — начинают быть продиктованы диалогом между тобой и ката. Ты иначе берёшь чашку со стола. Иначе гладишь своего ребёнка. Иначе смотришь на людей. Ты становишься одновременно и автором, и соавтором самого себя, становясь результатом диалога между тобой и теми другими, которых давно уже нет. С некоторыми это происходит постепенно, и тогда диалог вполне органичен и заметен. Но не со всеми.

...Вместе со мной долго учился один мальчик. Почему-то он всегда приходил в додзё в сопровождении своих родителей, тучной, пожилой и откровенно неприятной пары. Оба усаживались у стенки на пол и молча смотрели на своего сына в течение двух часов, практически никогда не разговаривая ни с кем, не улыбаясь, а после тренировки что-то тихо говорили ему — насколько я понял, замечания. Мальчик, хотя и чрезвычайно

закомплексованный, был усерден, делал невероятные успехи, и уже года через два, когда он исполнял ката, мы все заворожённо глядели на него. Он был практически безупречен. И всё равно проигрывал одно соревнование за другим, проигрывал потому, что в его ката была лишь форма. Каждое движение было как пример из учебника иностранного языка — голая грамматика без тени смысла.

Год назад он перестал приходить — поступил в училище, переехал в общежитие, начал где-то подрабатывать, и времени приходить на занятия не оставалось. Я слышал, что карате он всё же не бросил и вечерами занимается дома сам. Потом мне кто-то сказал, что он занял второе место на чуть ли не самых известных соревнованиях страны. А затем он пришёл к нам на тренировку.

Ощущение было такое, словно в безукоризненную, но мёртвую грамматику вдруг вдохнули жизнь. Движения были вроде бы те же, но выглядели совершенно иначе — они были его собственные, не похожие ни на кого. Казалось, будто, уложив каждое своё движение в столь узкие каноны, он в результате обрёл свободу — и от своих тиранических родителей, и от комплексов, и от самих канонов. Он наслаждался своей силой, играл своим телом, как джазовый музыкант играет на инструменте.

Я взглянул ему в глаза и понял, что в драке с ним у меня не было бы ни единого шанса.

3. БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ

Через месяц после того, как я поступил в университет, ко мне подошёл парень с Тайваня, с которым мы вместе учились на курсах японского. «Чего-то не видно тебя совсем. Куда запропастился?» Я непонимающе спросил, где это меня не видно, на что он мне терпеливо объяснил, что все иностранцы университета тусуются вместе, на особой тусовке для иностранцев.

«У тебя что, друзей, что ли, нет?» — с подозрением спросил он. Я ответил, что есть, но что все они японцы. «Японцы? — недоумённо проговорил он. — Японцы же не дружат!» На тусовку я так и не пошёл, но и уверенности, что мои отношения с японцами можно назвать дружбой в русском смысле этого слова, у меня тоже не было и нет до сих пор.

Как раз в то время вместе с несколькими японскими студентами я подрабатывал в горах проводником для детей, и периодически, навесив на спины огромные деревянные рамки сёико с поклажей из продовольствия, палаток и посуды, мы делали броски от одной горы к другой, где нас поджидали дети. Шли мы гуськом, практически не отдыхая, поскольку с таким весом без помощи и встать невозможно, и обращались ко всем встречным со следующим приветствием, в котором уместались почти все шаблоны, нужные японцу в жизни. Первый в шеренге говорил «Доброе утро», второй — «Добрый день», третий — «Приятно познакомиться», четвёртый — «Позволю себе отведать вашей великолепной еды», пятый — «Спасибо за угощение», шестой — «Спокойной ночи», и, наконец, седьмой — «Простите, что позволили себе отойти от приличий». Первому вежливо отвечали «Доброе утро», на второго смотрели как на полного идиота, потом начинали постепенно понимать шутку и, поравнявшись с седьмым, уже начинали хохотать. Именно этих парней я считал тогда своими друзьями, и мне было с ними хорошо, хоть и совсем не так, как чувствуешь себя в русской компании.

С людьми, выросшими в русской культуре, связь на каком-то другом уровне, о каждом знаешь всю подноготную, с каждым ты лицом к лицу, глядишь в его бездонные глаза и веришь в него и — поэтому — в себя. В слаженной группе японцев смотрят не друг на друга, а вместе на мир, верят не в каждого конкретного человека, а в общность всей группы. Верят слепо, переставая видеть и других, и самого себя, как бы утопая в вере. И, пожалуй, именно тогда, вышагивая в шеренге с белым полотенцем, повязанным на голове на манер японских рыбаков и строителей, и почти автоматически выдавая своё «спасибо за угощение» каждому встречному, я впервые почувствовал себя по-настоящему японцем.

Что бы мне сказал мой однокурсник с Тайваня, если бы я рассказал ему об этом — не

знаю. И ещё меньше представляю себе его реакцию на следующую историю.

Один приятель позвал меня участвовать, пожалуй, в самом опасном празднике Японии — Дандзири. К пятитонной деревянной повозке привязывают толстые канаты и с бешеной скоростью тащат её по узеньким улицам города, в то время как на самой повозке человек десять бьют в барабаны, играют на флейтах и танцуют. Руля на повозке нет, и управляют ею только верёвками сзади.

Праздник уносит в среднем по жизни за два года, а поломанных костей, контузий и разрушений для города всегда немало.

Я прибыл в город за день до праздника, едва проспал ночь, встал на рассвете и отправился вместе с другими бурлаками в храм — убедить японских богов дать нам выжить. До сих пор помню тусклое утро, звон колокольчика, которым после немой молитвы каждый обращает на себя внимание глуховатых японских богов, и хмурые, похмельные лица собравшегося рабочего люда. А потом мы побежали. Мне как новичку да ещё и иностранцу было велено просто бежать рядом с другими и пока что не притрагиваться к верёвкам. Для начала мы врезались в фонарный столб. Повозка осталась цела, но столб встал на манер Пизанской башни. Затем кому-то переехали ногу. Повозка поехала дальше, но хруст костей донимает меня до сих пор. Мне было страшно, одиноко, и я думал о жене и детях, которые ждали меня дома. А потом переднее колесо въехало на тротуар.

Повозка наклонилась над нами, танцоры и музыканты посыпались вниз, а бурлаки, бросив на мгновение верёвки, отпрыгнули как можно дальше. Я тоже. Секунды две повозка шаталась. А потом единым движением все вокруг бросились к ней и поставили её на землю. Я тоже подбежал. Но на секунду позже остальных.

Заметил ли кто-то эту секунду или нет — не знаю. Но в обед мне сказали, что, поскольку происшествий в этот год много, новичкам лучше не соваться. И я шёл назад в дом моего друга, шёл один по улицам этого маленького городка, пустынным, потому что всё население выстроилось вдоль пути нашей повозки. Шёл и думал, что же это была за секунда. Мне хочется думать, что дело не в храбрости. Что мне не доставало чего-то другого. Того, что японцы называют фразой ики га ау — «дышать вместе».

И мне кажется, что это нечто как раз и стоит в основе настоящей японской дружбы.

4. КАК БЛАГОДАРЯТ ЯПОНЦЫ... И КАК НЕ БЛАГОДАРЯТ

Однажды, ещё толком не разобравшись в японской действительности, я шёл со своей японской женой по японской же улице и увидел впереди старушку уже за девяносто, очевидно проработавшую добрую долю своей жизни на рисовых полях, отчего её аккуратно согнуло вдвое. В каждой руке у неё было по огромному кульку с продуктами, которые тянули её ещё ближе к вечному покою — если бы не повязанный на голове платок, она бы мела волосами мостовую. Смотреть на это человеку, выросшему среди положительного влияния широкой русской души, было совершенно невозможно, и я бросился помочь. Жена меня резко остановила.

— Почему это? — спросил я.

— А потому, — сказала жена, — что, если ты донесёшь ей сумки, в ближайшую субботу она придёт к тебе с пирогами благодарить. В Новый год тебе самому придётся раскошелиться на какой-нибудь подарочек, и так до самой смерти. К тому же она купила ровно столько, сколько может донести сама.

Я плюнул на совет и донёс старухе сумки. И поимел ровно то, что предсказала жена, — разве что вместо пирогов получил рисовые лепёшки.

Многое из того, что в России легко даётся, принимается и забывается, в Японии весьма чётко регламентировано. На каждую услугу должно быть точно вымеренное вознаграждение. Есть два специальных праздника, существующих исключительно для дарения, и целая индустрия рассылок подарков с обёртками на каждый случай жизни. Поэтому по возможности принимаешь услуги только от тех, с кем готов потом состоять в

дарственных отношениях всю жизнь. Я привык к такому раскладу. Привык, да не совсем.

Трудно отделаться от привычки уступать место в транспорте. Места для престарелых имеются, но не уступает их никто. Я уступаю, хоть и только тогда, когда вижу, что человеку действительно плохо. И всё равно многие отказываются, а те, кто всё же садится, или просиживают до своей станции, увлечённо рассматривая собственные ботинки, или же благодарят и извиняются так усердно, что начинает казаться, что человеку было бы намного спокойнее пешком постоять. Да и недаром: в японском языке слово сумимасэн — извините — буквально значит «этим дело не кончится». То есть теперь мы с вами связаны до гроба.

После пятнадцати лет в стране начинаешь следовать даже таким обычаям, которые не очень нравятся, и одно время я машинально подсчитывал все услуги, как настоящий японец, многословно благодарил, щедро отдаривал и того же ожидал от окружающих.

А потом начал думать, что, быть может, зря.

Началось всё с того, что во время поездки в Латвию меня с приятелем остановил на дороге незнакомый нам обоим дядя и попросил моего друга дотянуть его машину куда-то на другой конец города. У него, мол, машина сломалась, сам он дальнбойщик, этой же ночью в рейс ехать, а до фирмы не доберётся. Приятель довёз. Я, порядком к тому времени объяпонившись, и здесь ожидал японских вежливостей, но дядя лишь сказал: «Ну, парни, бывайте!» — с довольной улыбкой помахал нам рукой и убежал дальнбойить. «А чё такого? — удивился мой приятель. — Он бы мне тоже помог».

После японского регламента эта система отношений показалась мне более... функциональной. А потом, уже вернувшись в Японию, я попал в ещё более убедительную ситуацию.

Одной японке я оказал очень большую услугу: я спас ей жизнь. Но не получил в ответ ничего.

Дело было в Японских Альпах, возле горы Дзёнэн — три тысячи метров над уровнем моря. Начался ураган с проливным дождём да ветром двадцать семь метров в секунду, моя палатка легла мне на голову кучкой поломанных шестов, и пришлось стучаться в приют альпинистов. Вскоре с вершины спустился мальчик, едва державшийся на ногах, промёрзший и вымокший до нитки. Когда его отогрели, он сообщил, что ещё одна дама осталась где-то наверху. Немедленно было решено отправить поисковую группу.

В детстве начитавшись «Библиотеки приключенческой литературы», я всю жизнь мечтал о таком шансе. Решив, что группа будет состоять из крепких альпинистов, что я смогу пристроиться где-нибудь в хвосте да примазаться к славе, я немедленно вызвался участвовать. Мне выдали резиновые сапоги почему-то с дыркой и термос с тёплым чаем, и я вылетел из приюта наружу. Ветер немедленно свил меня в клубок, распутавшись из которого, я обнаружил, что вся поисковая группа состояла из меня да паренька лет семнадцати. Часа через два, когда от тёплого чая осталось только пара капель и мы с пареньком уже начали понимать, что очень скоро за нами самими нужно будет отправлять поисковую группу, мы каким-то чудом нашли похожую на свеженький труп даму, прикорнувшую у скалы и готовившуюся к известному чему. Как мы умудрились дотащить её до приюта — не знаю. Но смогли. Там её отогрели и уложили спать. А на следующее утро оказалось, что дамы и след простыл.

Решила ли она, что услуга была слишком велика? Что японский регламент требует от неё слишком многого? Не знаю. Но кажется, что ей было бы гораздо легче жить, если бы у неё была культурно санкционированная возможность просто сказать нам перед уходом: «Ну, парни, бывайте!»

5. ЛОШАДИ, СОБАКИ, ДЕТИ

«Нас было трое — я был старшим, потом сестра, и ещё брат, совсем маленький. Отец умер на войне, мать подрабатывала прачкой, но денег не хватало. А родители отца не помогали, вечно придирались — что мы немые, что сидим, сложив ноги, а не подложив их

под себя, как полагается перед старшими. Я толком не помню, как мы провели тот день. Помню вечер. Рельсы, мать держит маленького на руках, сестра плачет. А потом — огни поезда. Мы оттащили мать в последнюю секунду. Мне было тогда девять лет».

Эту историю я услышал года через три после того, как приехал в Японию, от учителя, одного из основателей частной школы, где я тогда работал. Тогда я и узнал об этом японском обычае — коллективном самоубийстве. Я не знал, ни как эту историю понимать, ни что ему ответить. И мы сидели на полу в полутёмном домике частной школы и молчали, глядя друг на друга — юнец из России, безуспешно пытающийся разобраться в чужой действительности, и пятидесятилетний небритый японец, высокий, жилистый, с пожелтевшими от сигарет зубами и невероятной силой в глазах. Глазах, в которых навсегда осталась боль того дня сорок лет назад, когда его собственная мать попыталась его убить.

С тех пор прошло пятнадцать лет. И всё это время я не переставал удивляться, как странно работает японская семья.

Когда ребёнок только родился, к нему относятся как к хорошенькой вещичке, называя словом *кавай*. Я долго не мог понять, как можно использовать одно и то же слово для подаренного приятелем брелока для ключей и новорождённого сына того же приятеля. И когда у меня самого родились дети, с трудом терпел, когда тем же словом называли моих.

Стоит детям подрасти, и они становятся обязанностью. Детей надо выучить, послать в хорошую школу, устроить в хорошую фирму. Дети становятся болванками, из которых делают примерных граждан.

При этом в обществе ходят заимствованные из Европы слова вроде материнского инстинкта, родительской или семейной любви, слова, которые плохо сочетаются с отношением к детям как к игрушке или обязанности. Слова эти тоже становятся долгом, который, правда, выполнить труднее.

Со временем я начал понимать, что разобраться в той каше, которую я вижу вокруг себя сейчас, можно только поняв, как работала японская семья раньше.

«У вас в саду хурма растёт?» — «Растёт». — «А плоды-то есть?» — «Есть». — «А сорвать можно?» — «Пожалуйста». — «Ну, тогда и сорву». Такой ритуальный диалог происходил в былые времена в деревнях между вдовами или замужними и подростками перед тем, как первые научали вторых искусству любви. «Вчера к моей матери ходил?» — «Ходил». — «К старшей сестре бы тоже заглянул, а то мается, бедная». Так разговаривали соседи, когда был в ходу обычай *ёбаи* — ночные посещения мужчинами своих соседок. Детей было много, и разобраться, кто чей, было трудно. Часто по бедности новорождённых бросали — оставляли на обочине или перед храмом. Кто-то их подбирал, хотя и не всегда. Кровное родство было не так уж важно, и даже среди самураев четверть детей были приёмными. А уж в деревнях, где у людей и фамилий не было, дети были наполовину общими.

В 1687 году был принят «Закон о жалости к живым существам», в котором запрещалось убийство любой живой твари, и заодно народ призывали по возможности не проходить мимо брошенных детей, а брать их и воспитывать. Закон вскоре отменили из-за неурожаев тех лет, заставивших многих обратиться к животной пище. Но сам факт того, что в одном законе были объединены животные и дети, показывает отношение к детям того времени.

В конце девятнадцатого века начинаются новые реформы. Запрещают бросать детей, одновременно вводя европейские идеи кровного родства, семьи, материнского инстинкта, и свободные отношения между полами постепенно уходят в прошлое. Тем же кровным родством подпирают власть императора — прямого потомка богов. А народ учат быть ответственными за детей — перед обществом и государством. Страна модернизируется, мужчины бросают сёла, идут на заводы, едут сражаться — с русскими, корейцами, китайцами, американцами. Умирают. А женщины производят новое пушечное мясо. Чувство необходимости соответствовать насаждаемым сверху идеалам становится всё сильнее. Люди уже не могут оставить лишнего ребёнка на обочине. И когда прокормить детей не удаётся,

ведут их к железной дороге — чтобы умереть вместе.

Сейчас, мне кажется, я понимаю, почему тот учитель всегда говорил с детьми на равных. Почему никогда не пытался их учить, а, скорее, учился вместе с ними. Почему его так любили дети и с трудом понимали их родители. Он пытался воссоздать в своей маленькой частной школе то, что Япония потеряла, — ощущение, что все дети в каком-то смысле общие. Что все выжившие — брошенные, подобранные, усыновлённые — не красивые игрушки и не болванки, из которых кровные родители должны выстругать примерных членов общества, а живые существа, такие же, как лошади, собаки или куры. Что в конечном счёте не так важно, кто их родители — их всё равно воспитывают все вместе.

И мне кажется, что без этого ощущения не может существовать настоящая японская деревня.

6. ДЕЛА ПОСТЕЛЬНЫЕ, ИЛИ РЕКА БЕЗ МОСТА

В конце восьмидесятых, когда Цой был ещё жив, а овраг рядом с моим московским домом был завален пустыми бутылками из-под одеколона, мой отец — до сих пор не знаю, зачем — повёл меня смотреть «Империю чувств». Было мне лет пятнадцать, я был ещё юн и неопытен, поэтому из первой части фильма извлёк немалую пользу. Вторая же напугала меня настолько, что, выйдя наконец из кинотеатра, я громогласно заявил: «Что бы со мной в жизни ни случилось, на японке я ни за что не женюсь». Через двенадцать лет я таки женился — по чистой случайности как раз на японке. И хотя пока у меня нет ощущения, что мне отрежут самое главное, сексуальность японцев не перестаёт меня удивлять.

Ощущение такое, словно секса в Японии просто не существует.

Представьте, что вы зашли в вашей России, Англии или Китае в табачную лавку купить сигарет. Представьте, что за прилавком стоит особь противоположного пола. Пожалуй, в любой стране мира вы немедленно оцените эту особь. Вы посмотрите на неё и представите себе, как бы это было. В большинстве случаев особь одновременно посмотрит и на вас — так же, оценивающе. Вы оба немое, не говоря ни слова, решите про себя, оно или не оно. И выйдете из лавки, поимев не только необходимую пачку сигарет, но и не менее необходимую оценку самого себя. Иногда оценка хороша, иногда нет. Но главное — вы чувствуете себя встроенным в систему, благодаря которой и появились на свет.

Или — обычная супружеская пара. Даже если обоим под семьдесят, они всё равно будут выказывать друг другу нежности, притрагиваться друг к другу, иногда поцелуются, возьмутся за руки или же будут постоянно ругаться, что, в общем, функционально примерно то же самое.

В Японии нет ни таких оценок в магазинах, ни нежностей между партнёрами — особенно это отсутствие чувствуется среди молодёжи. За семнадцать лет в Японии я ни разу не видел, чтобы японцы целовались на улице. Эротика начисто отсутствует в обыденной жизни — настолько, что в незнакомой компании просто не разберёшь, кто с кем. Нет ни кокетства, ни приставаний. При этом в стране всё же имеется постоянный ежегодный прирост населения, из которого следует, что кто-то как-то всё же. Но как?

Я попробовал поспрашивать у знакомых, как это им удаётся. Совсем молодые выдавали реакцию почти болезненную, хихикая, страшно конфузясь или вообще негодуя. Люди постарше старались поменять тему разговора. И лишь одна приятельница за пятьдесят, умная и весёлая, с сединой в волосах и задором в глазах, усмехнувшись и приглушённым голосом ответила, что стоит ей нырнуть в футон — и она мгновенно настраивается на этот лад, будто нажимает на специальную кнопку.

В то же время Япония скандально знаменита феноменом под названием тикан — лапаньем мужчинами девушек в транспорте. Это не попытка домогательства — вся идея в том, чтобы сделать это незаметно для жертвы или даже — это уже высший пилотаж — заставить её бессознательно возбудиться. По данным проведённого в Токио лет десять назад исследования, целых 70 процентов учениц средних школ испытали тикан на себе, то есть

речь идёт вовсе не о кучке извращенцев, а о вполне распространённой практике. При этом, даже почувствовав, что с ними делают, девушки редко оказывают сопротивление: сексуальность настолько табуирована, что даже в качестве жертвы привлекать к себе внимание не хочется. В последнее время во многих городах даже появились специальные вагоны только для женщин, но проблема не уходит.

Точно так же именно Япония стала одним из главных экспортёров порнографии — пожалуй, одной из самых откровенных в мире. В отличие от американской, в которой главный упор делается на физиологию, японская порнография изобилует ролевыми играми. Действие почти всегда происходит в наше время, героиня часто или медсестра, или учительница, или замужняя, чуть не половина фильма состоит из неуклюжих диалогов, и лишь после минут двадцати просмотра зритель наконец может насладиться самим действием.

Я однажды спросил у приятеля, большого знатока японского порно, в чём тут соль. Тот ответил, что смотрится всё для того, чтобы поймать момент, когда актриса перестаёт играть роль и начинает чувствовать. И тут я понял.

На строго выполняемых ролях выстроена вся японская современная жизнь. В любой момент своей жизни ты или отец, или служащий, или мать, или соседка, причём каждая роль укладывает человека в довольно узкие поведенческие рамки. Что же касается эротической сферы, то за время модернизации прошлого века, стремясь к западной благообразности, Япония успела разрушить весьма откровенные устои прошлых времён, а создать новые не удосужилась. И неуклюжие разговоры ролевой порнографии, как и лапанье в вагонах — не что иное, как попытки выстроить отсутствующий в обыденной жизни мост между днём и ночью.

Хорошо проведённая ночь, как и хорошая драка, — это ночь без саморефлексии, лжи и ролей, без игры и наигранности, когда мы сбрасываем с себя всё социальное, когда диалог происходит без языка, на каком-то ином уровне. Мне кажется, это верно для любой культуры. Наверное, именно поэтому в обществе, где излишне строго регламентированы все социальные роли, мосты к сферам бесцеремонным — сферам без ролевого поведения — просто теряются.

А когда нет моста, остаётся прыгать в воду — авось доплывёшь.

7. КАК ХОДИТЬ ПО ЛУЖАМ

Пальцы на ногах у монаха были совершенно удивительной толщины. Ступни были тоже толстые, а над ними — икры, каждая толщиной с большую бутылку саке. Над ними — длинная потрёпанная чёрная ряса, из которой высывались громадные ручки и выбритая голова с маленькими, но внимательными глазами. Ростом он был метра два, не меньше, и когда он шёл, мерной и тяжёлой поступью, ощущение было, словно гора решила прогуляться — неспешно так, с буддийским спокойствием, но и с некоторым любопытством к окружающему миру.

У монаха был фургон человек на десять, на котором он разъезжал по горной деревеньке, собирая детей. Дело было в начале января, когда сбор урожая одного из сортов мандаринов был в полном разгаре, и маленькие дети на зимних каникулах становились дома обузой — мандарины собирали всей семьёй, включая и стариков. Дети радостно запрыгивали к нему в фургон, и монах отвозил их к себе в храм, где присматривал за ними и учил правописанию да арифметике, периодически перемежая учение сказками.

На уроке дети сидели в большой комнате храма, чинно поджав ноги под себя, внимая каждому слову, когда монах говорил, и отвечая по очереди, когда он их спрашивал. Монаху удавалось выстраивать для них очень чёткие рамки, строгие, но вполне уютные, которые дети и знали, и признавали. Нарушение правил встречалось или слегка нахмуренной бровью, или — в редких случаях и только с самыми маленькими — суровым выговором: «Тонтон ситэ!», то есть ударь себя костяшками пальцев пару раз по голове. Стоило ему произнести эту фразу, наглядно показывая действие на своём бритом черепе, и провинившиеся,

мгновенно посерьёзнев, следовали его примеру и шмякали себя по голове — хоть и довольно нежно. Действовало это безотказно.

Кроме педагогических и религиозных обязанностей монах был ещё и советчиком для всей деревни. О тонкостях земледелия он знал немного, зато в человеческих проблемах разбирался прекрасно. Жёны советовались с ним о неверности мужей, мужья — о неверности жён, свекрови — о непослушных невестках, а матери — о непослушных сыновьях. Когда он приходил, ему всегда наливали лучший чай и давали самые изысканные сласти. Он никогда не отказывался, даже когда знал, что семья с трудом могла себе позволить угощение.

Я проработал в этой деревне неделю почти двадцать лет назад, собирая мандарины на холмах между морем и высокими горами, и сверху мне то и дело виднелся фургон монаха, мелькавший на узких дорогах между домами. Неделя — срок слишком маленький, чтобы понять все издержки этой идиллии. Но, пожалуй, в общих чертах такова была японская система обучения до прихода нынешних школ. Такова она была во времена Эдо, когда народ был привязан к сословиям, а обучение полагалось в основном только старшим сыновьям торговцев да зажиточных крестьян — остальные дети росли, как приходилось. Старших сыновей посылали в так называемые тэра-коя — комнаты при храме, — полностью полагаясь в делах образовательных на слугу религии.

Все триста лет периода Эдо, поскольку практически вся социальная мобильность была под запретом, общество гордо стояло на месте. Тогда не было конкуренции между учениками, ведь сын крестьянина мог стать только крестьянином, а сын торговца — только торговцем. Понравилось ли бы мне жить в то время — не знаю. Но знаю школьную систему, которую ввели под лозунгом «Карьера и успех» в конце девятнадцатого века, чтобы как можно скорее — путём соревнования всех против всех — поравняться с Западом. Эту систему мне приходится испытывать на своих детях. И здесь издержки гораздо больше на виду.

Родительские комитеты с их вечным недоверием к учителям, вечными подозрениями, что их ребёнок учит хуже остальных. Забитые учителя, зажатые в тиски между родителями и министерством образования, вкалывающие с утра и допоздна, с бесконечными никому не нужными клубами, сессиями самокритики да канцелярщиной. И дети, которым родители говорят: «Соревнуйся, будь лучше других», — в то время как школа, следуя очередной директиве сверху, то вводит новые экзамены, то начинает втолковывать им доктрину пресловутой японской гармонии — мол, все мы одинаковы. Каждый класс становится или казармой, или бедламом — просто потому, что учитель для общества — ещё одна профессия в сфере обслуживания. Его авторитет основан на морали или религии. У него не ищут совета в житейских делах. Он — выбираемая случайность, и ему не верят.

Каждый раз, когда, следуя некой школьной проформе, с визитом на дом в костюме и кроссовках ко мне приходит очередной нервный классный руководитель одного из моих детей, я стараюсь показать ему, что верю ему на все сто. Что он не должен отчитываться передо мной, что для меня он не обслуживающий персонал, а что-то неизмеримо большее, что я считаю его высшим авторитетом и в сфере обучения, и в сфере морали — даже если он мне кажется последним идиотом, даже если я вижу, что у него нет за душой ничего, кроме желания прожить тихую жизнь на стабильную учительскую пайку. И они проводят положенные пятнадцать минут и уходят с некоторым, как мне кажется, облегчением, хоть и знают, что уже в следующем доме их ждёт совсем другой приём.

В прошлый раз, провожая одного из них, я вышел с ним вместе на дорогу и смотрел, как этот неуверенный в себе худощавый парень, не так давно закончивший университет, удаляется в сторону дома следующего ученика. Шёл дождь, и мой гость в чёрном костюме и с чёрным зонтиком в руках довольно ловко перепрыгивал в своих кроссовках через лужи, напоминая слегка подмокшую ворону.

И я вдруг вспомнил монаха, его толстенные ноги и твёрдую поступь. Тот всегда ходил в деревянных гэта. И шёл бы прямо по лужам.

8. НЕПЕРЕВАРЕННАЯ ПРАВДА

Дочка отложила палочки для еды и гордо продекламировала по-японски своё трехстишие:

— Мы же все люди и дискриминации твёрдо скажем «нет».

Затем сделала эффектную паузу и спросила:

— Хорошо, да?

— Нет, не хорошо, — сказал я.

— Почему? — обиженно говорит она. — Всё же правильно! Между прочим, именно моё выбрали в школе на стенку повесить — на «Неделю прав человека».

Я молчу, не зная, что сказать. Советское детство научило мгновенно отличать правду от пустого официоза, но как девятилетней японке объяснить, что одно хорошо, а другое нет?

— Потому, — наконец говорю я, — что если что-то правильно, это вовсе не значит, что это правда.

У дочери в глазах недоумение. Я безуспешно пытаюсь сообразить, что сказать дальше. Тут моя японская жена достаёт из стопки бумаг, приготовленных на выброс, тонкую брошюрку, которую кто-то с наилучшими намерениями сунул нам в почтовый ящик, и кладёт её на стол перед нами. На обложке — картинка. Платформа метро, подъезжающий поезд, жёлтые полосы рифлёных плиток вдоль края платформы, слепой, нащупывающий дорогу чёрной тростью, а на переднем плане — нога служащего и портфель, стоящий на пути слепца прямо на жёлтом рельефе. И надпись: «Задумаемся об инвалидах».

— Гляди, — говорит жена дочери. — Во-первых, палки у слепых уже сто лет не чёрные, а белые — чтобы зрячие отличали их от обычных тростей. Во-вторых, слепые никогда не ходят по этим идиотским плиткам — их всегда кладут так близко к краю платформы, что пойдёт по ним только сумасшедший. А в-третьих, подумать об инвалидах надо не этому типу с портфелем на картинке, а самому художнику, который про слепых не знает ни черта. Видишь? Всё вроде правильно, а правды — ноль.

Дочка медленно кивает. А я начинаю думать.

Большая часть японского образования — да и вообще практически всей городской жизни — построена на повторении канонов. Даже на кафедре антропологии, где я учился — одной из лучших в Японии, — аспиранты на семинарах в основном только пересказывали ими же наскоро переведённые работы западных учёных, а собственное мнение — если таковое и было — сводили к минимуму. Любые попытки отойти от шаблонов либо встречались лёгкой усмешкой преподавателя, либо — если идея была сколько-нибудь толковой — разбивались им же в пух и прах. Первые года два я не понимал, зачем нужна эта заикленность на правильности всех высказываний. А потом понял: с точки зрения японского истеблишмента, самовыражение возможно только при мастерском владении всем багажом — научным или каким-то ещё, — поэтому право сказать хоть что-то от себя и даётся только тем, кто уже отмаялся в среде не меньше лет семи-восьми.

Недостаток этого расклада в том, что если в карате или каллиграфии человек, усвоивший каноны, действительно рано или поздно каким-то чудом обретает в них себя самого, то в делах умственных всё кончается довольно грустно — голова, привыкшая за долгие годы повторять чужие слова, в большинстве случаев так и не научается создавать свои. И очень многие общественные люди всю карьеру говорят и пишут именно правильно, но без крохи правды.

Среди японцев действительно головастых бытует идея о разделении человека на две сферы, совпадающие с двумя словами, которыми мужчина может обозначить в японском языке понятие я — ватакуси и боку. Первое я — общественное, сложенное из положения человека в обществе, норм и канонов. Второе — личное, выстроенное на собственном опыте и переживаниях. Людям помоложе японский истеблишмент не оставляет и вовсе никакого выбора. Но и для людей постарше всё непросто — если второе, личное я не дотягивает,

приходится до самой смерти выезжать на первом.

Вечером того же дня я зашёл к своему приятелю, владельцу лавки антиквариата неподалёку — она же автомастерская, она же местный центр распределения брошенных котят и ещё много чего разного. Человек под шестьдесят с огромными бицепсами и грустными глазами, он давно ушёл из фирмы, выбрав жизнь хоть и без стабильной зарплаты, но и без начальников, зажигательных речей на линейках по утрам да низких поклонов тем, кого презираешь. Жизнь, в которой ему уже не приходится называть себя ватакуси.

Мы сидели на раскладных стульях перед его лавкой, курили и разговаривали. И я вдруг понял, отчего мне с ним так хорошо. О чём бы мы ни говорили — о велосипедных спицах, коробках передач, комариных укусах или женском непостоянстве, — перед каждой фразой он делал паузу, искал слова. Хоть и неправильные, но заваренные на его собственном опыте, с крепким запахом машинных масел, курева да пота.

Какие уютно, лишь бы свои.

9. НЕСИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД

Два часа ночи, вдоль стены в обширной комнате полицейского участка в центре Осаки сделано пять загончиков, каждый — из трёх столов, поставленных покоем.

Рядом с каждым загончиком стоит женщина в полицейской форме — следит, чтобы все нормы были соблюдены. На двух стульях у перекладки буквы П сидит по следователю и переводчику. А внутри каждой буквы — по сильно накрашенной девице, приехавшей в страну восходящего из кипучей и могучей подзаработать.

— Ну, подливала? — спрашивает сидящий рядом со мной следователь лет тридцати, в аккуратном костюме, но с сильно утомлённым лицом. Я перевожу на русский. Девица, самая молоденькая и смазливая из пятёрки, жеманно поводит плечами, закидывает ногу за ногу, поправляет короткую юбку, проводит рукой по чёрным волосам, как бы случайно дотрагивается до выреза на кофточке. Я, как полный идиот, послушно проделываю взглядом всю дорогу, потом гляжу ей в глаза. Девица улыбается, как бы говоря: «Попался».

— Да нет же, мы просто пришли туда отдохнуть после работы, — отвечает она уже в который раз.

Следователь вздыхает. Допрос идёт уже часа два. Девицы приехали с визой деятелей в области культуры и искусства — как танцовщицы. У моей в наличии был даже диплом законченного училища, который она показала не без гордости. Но, как выяснили японские полицейские, оттанцевав своё часов до восьми вечера, вся компания отправлялась в другой клуб, где они уже работали в качестве хостесс — развлекая посетителей беседой на полуанглийском языке, демонстрацией своих прелестей да бесконечной выпивкой, которая стоит в таких заведениях намного выше, чем в других местах. На такую работу нужна виза совсем другая, за что и попались.

По бедности мне в таких местах бывать не приходилось, но знакомые говорят, что там хорошо. Трогать девиц не позволяют, но они и так умеют заставить японского мужика почувствовать себя и интересным, и сексапильным, и вообще востребованным. А если очень повезёт, то девица покажет высший пилотаж — сунет себе сигарету в интересное место и выкурит до фильтра, таким образом наглядно показывая, что её интересное место функционирует как кинтяку — мешочек, который можно затянуть верёвочкой. В общем, рай.

Следователь вздыхает снова. Потом берёт со стола сумочку девицы, достаёт записную книжку. Протягивает её мне и уходит — наверное, справить нужду. Мучаясь всякими этическими соображениями, я всё же открываю книжку. Содержание в стиле Билли Бонса: «У Палм-Ки он получил всё, что ему причиталось». Слева — даты, справа — количество спиртного, которое удалось втюхать клиенту, умноженное на комиссию. Я перелистываю несколько страниц. Рядом с записями появляются пояснения — лысая уродина, толстяк-президент, старый извращенец. Потом всё чаще начинает встречаться японо-английское слово афта, к которому приписаны уже довольно приличные суммы —

гораздо больше моего заработка переводчика.

Я поднимаю глаза, смотрю на неё. Девушка немного нервничает, хотя и понимает, что одной записной книжкой ничего не докажешь. Хотя и курносая, она не лишена приятности, но кожа под толстым слоем косметики уже начала сдавать от нездоровой еды и ночного образа жизни. Я вдруг вспоминаю классификацию проституток, слышанную от моего приятеля-японца, большого любителя тайландских рынков любви и вообще человека в этих делах сведущего: «Есть бабы, которые любят только деньги. А есть такие, которые любят и деньги, и само занятие. Это сразу чувствуешь». В глазах у моей собеседницы застывшее выражение некоторой забитости да удивления, словно она не ожидала от жизни вот такого. Судя по всему, многочисленные афта, кроме финансовой, ей особой радости не принесли.

— На хрен тебе это надо, а? — говорю я от себя, воспользовавшись отсутствием следователя. Лицо девушки перекашивается, теряя последние остатки приятности. — У тебя что, мать в больнице? На операцию копишь? Нет? Тогда зачем?

— А тебе какое дело, а? — озлобленно отвечает она.

— Слушай, — говорю я, начиная почему-то злиться сам, — зачем тебе эти уроды да извращенцы? У тебя диплом, танцуй себе.

— А ты знаешь, сколько за это платят?

— А ты знаешь, сколько мне за этот перевод платят?

Некоторое время мы смотрим друг на друга. Ярость в её глазах пропадает. Она переводит взгляд на свою партнёршу постарше с волосами, выкрашенными в неестественный белый цвет, сидящую за соседним столом, — очевидно, своего учителя жизни. Та встречает её взгляд, мгновенно понимает, что происходит, и двигает челюстью: «Не поддавайся». Моя девушка опускает глаза, потом снова смотрит на меня. Мне начинает казаться, что я ей нравлюсь.

— Дояркой и то лучше, чем вот так, козлов доить, — говорю я с надрывом, почему-то ударяясь в соцреализм. Думая про себя: «А мне-то зачем это надо?» И ещё раз, глядя ей в глаза, тупо повторяю: — Зачем?

Девушка начинает плакать, вместе со слезами течёт макияж, обнажая усталую кожу. Возвращается следователь, видит девушку в слезах, спрашивает:

— Вы что, сказали ей что-то?

— Да почти ничего, — говорю я и отворачиваюсь, с отвращением понимая, что сделал за него большую часть работы — девушка уже готова во всём признаться. Больше он мне вопросов не задаёт.

Девушка и правда колется первой, на неё со всей помпой надевают наручники и её отправляют в изолятор на три дня, затем её ждёт депортация. Изолятор — огромное белое здание невероятной чистоты без окон, с железными дверями и стенами в метр толщиной. Я следую за ней по бесконечным коридорам почти до камеры, вздрагивая при звуке каждого закрываемого за нами засова. Девушку переодевают в тюремную пижаму, а мне вручается брошюра «Правила поведения заключённых», которую я должен с листа перевести девушке. В присутствии двух тёток-тюремщиц, чинно стоящих рядом, я начинаю переводить её, но после первого абзаца идиотской проформы мне становится тошно, я проклинаю и себя, и уродов с извращенцами, и саму девушку с её неверно выбранной профессией. Девушка выглядит совсем забито, но теперь, уже без мишурного тряпья и с размазанной косметикой, намного больше своей. Я начинаю думать о том, как она проведёт без языка следующие несколько дней в четырёх стенах, постепенно перестаю понимать, что читаю, и начинаю вместо брошюры декламировать стихи: «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком...» Тюремщицы чувствуют перемену, но молчат, переминаясь с ноги на ногу. Девушка снова начинает плакать, но по-другому. Потом дотрагивается до моего плеча и шепчет: «Спасибо тебе».

Ещё десяток засовов — и я выхожу на улицу, где уже утро, где уже поток служащих в тёмных костюмах да с утренней целеустремлённостью в глазах. Её клиенты? Я закуриваю и стою на тротуаре некоторое время, не в силах заставить себя встроиться в поток. После ночи,

проведённой за допросом, во рту ощущение отвратительное, ноги какие-то одеревенелые. Я приседаю на корточки на манер японской шантрапы, слушаю, как хрустят суставы. Почему-то чувствуя себя последним мерзавцем.

10. КАК ЛУЧШЕ ПОСТАРЕТЬ

Я не то чтобы не знал, что она замужем. Но мог позволить себе этого не понять. Всего три месяца в стране плюс выпитое вино, плюс шум в зале — вокруг бушующая молодёжь, а на сцене какая-то бойкая, но бестолковая рок-группа с вокалистом, показавшимся мне по ранней близорукости парнем лет двадцати — уж больно высоко он прыгал по сцене. Мне самому было тогда около двадцати.

— Это мой данна, — сказала женщина уже под сорок, которая не отходила от меня весь вечер, и показала на солиста.

— Твой кто? — переспросил я.

— Данна!

— Сын? — переспросил я снова, не зная слова.

— Да нет, дуралей! — закричала она, захохотав. И вдруг, прильнув ко мне, добавила: — Пойдём в отель, а?

Конечно, я понимал. Должен был понимать, даже без языка. Но пошёл. И во второй раз пошёл, и в третий, когда уже успел выучить и слово данна — муж, и другое слово, которому она меня научила, — слово бураку, как называют японских неприкасаемых — людей, с которыми обычные японцы издавна и до сих пор стараются не вступать ни в брачные связи, ни (по возможности) в любые другие отношения. Мне было хорошо с ней, а ей, наверное, хорошо со мной — человеком извне, для которого её каста была всего лишь ещё одним труднообъяснимым обычаем и запретительной силы имела не более, чем для японского таксиста надпись: «У ограды не писать».

Через несколько месяцев роман уже потерял для меня привлекательность: я начал чувствовать себя по-иному и выстраивать свою жизнь в Японии совсем на других основах. Я переехал в другой город, написал ей письмо, немало постаравшись, чтобы оно не причинило боль — будто это возможно. И считал, что инцидент исчерпан. А потом мне позвонил её муж и потребовал, чтобы я с ним встретился. И я поехал.

Хорошо помню, как шёл от станции по берегу реки к кафе, проклиная себя, ненавидя каждую клетку своего тела. Я уже знал, что у них трое детей, воображал, что разрушил семью, я, юнец без гроша в кармане, толком не говорящий на их языке, не знающий ни обычаев страны, ни проблем её низжайшей касты. Я решил, что подставляю ему все щёки. Что не буду защищаться, если он достанет нож. А если мне суждено выйти из этого кафе живым, то я буду его должником всю свою жизнь. Бред.

Я вошёл. Он подозвал меня к столику. Улыбнулся — наверное, просто по японской привычке — и так же машинально заказал мне кофе. А потом стал меня просвещать — уровнем ниже моих собственных страданий, о том, что каждый человек обязан чувствовать свой долг перед обществом, о том, что семья — это ячейка, и тому подобная бурда. Каждый раз, когда я, как последний дурак, начинал объясняться и извиняться, он краснел от ярости и нелогично кричал: «Вы оба этого хотели! Нечего здесь извиняться!» — и кричал так громко, что все в кафе затихали и некоторое время смотрели на нас. Потом он успокаивался и снова брался за нравоучения. Так я провёл часа два, ни разу не притронувшись к кофе и чувствуя, как все мои благие помыслы постепенно улетучиваются. Когда от моего раскаяния уже оставались последние крохи и я уже готов был встать и сказать, что с меня хватит, он вдруг встал сам, протянул мне руку — по европейскому обычаю — и сказал:

— Ну, счастливо тебе. Хорошо постареть.

Расплатился и ушёл. Некоторое время я сидел, не давая себе права двинуться. Потом-таки выпил свой кофе — авось яд? И вышел на улицу. Солнце уже повисло над горами на западе, и я шёл обратно вдоль реки, по правде сказать, вполне наслаждаясь

пейзажем. И всё не мог забыть его последних слов, как до сих пор не могу.

Имел ли он в виду самого себя с женой? Ищущих молодости в зрелости? Играющих музыку своих ушедших лет, спящих с иностранцами? Может, он и сам не отличался верностью жене, отчего и получил от неё по заслугам — с первым попавшимся, подобранным на улице, белокожим. А может, и нет. Да и не так это важно.

После долгих лет в Японии мне кажется, что важно то, что мы действительно не просто живём. Мы стареем. Мы умираем. И для этого нашими предками и предками наших — и не наших — предков во времени выбиты ступени. Тебя называют Юра-тян, пока ты ходишь в коротких штанишках. Окамото-кун, когда ты стараешься выпендриваться в школах или университетах, Окамото-сан, когда ты уже чего-то стоишь или, по крайней мере, должен стоять. А потом у тебя рождаются дети, и тебя уже не называют по имени, ты теперь отец такого-то, а потом дед такого-то, а если повезёт, то и прадед вот такого-то. Даже если у тебя нет своих детей, ты всё равно рано или поздно становишься госюдзин — главным мужчиной в доме, а потом и отцом, и дедом, даже не имея потомков. И хорошо постареть — это не значит оставаться верным себе или богу до конца. Это значит оставаться верным той череде, в которой ты лишь одно звено.

Белые американцы в одинаковых чёрных костюмах часто ходят по японским кварталам со словом Христовым на губах, все говорят чего-то, а слушают мало — зачем им? И всё учат, учат. А на руках браслетики: «What would Jesus do?»

Что бы Иисус делал, не знаю. А мне бы постареть хорошо.

11. ОВЦЫ ВОЙНЫ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЯПОНИИ

Старик-смотритель вышел из своей будки, медленно спустился по откосу и присел на пригорок возле одного из домиков полузаброшенного кемпинга, который мы сняли у него на лето. Достал сигарету и сладко затянулся.

— Меня на юг воевать послали, на остров один. Если из Японии всё время на юг плыть, туда и приплывёшь. А если ещё дальше на юг плыть, сначала в Германию приплывёшь, а за ней — Франция. А если из Франции на машине на юг поедешь, там мост один будет, переехал его — и в Англии. Но тогда я так далеко не поехал — это я уже потом на самолёте полетел — посмотреть, где воевал, да заодно на Италию разную посмотреть.

На мгновение старик сделал паузу, словно вспоминая разную Италию. Хотя ему было за девяносто, он курил не меньше двух пачек в день, а пил исключительно виноградную фанту, зачем-то аккуратно выставляя пустые банки столбиками по четыре штуки перед своей покосившейся будкой.

— Вон, видишь, на той стороне озера гора? Так и было: наш остров здесь вот, а на том берегу американцы сидят. Плохо было — патронов мало, никто не знает ни черта, вот и сидишь — ждёшь, пока американцы на эту сторону переправятся и крышка всем настанет. Да только американцы, видать, сами не знали, сколько нас тут засело. Некоторые из наших с овцами это самое, а я нет. На что мне овцы эти? Разве что жареные. Потом пароход за нами пришёл, а если б не пришёл, точно бы с концами.

Я уселся рядом с ним и тоже достал сигарету. Одну и ту же историю он рассказывал мне, единственному постояльцу, каждый день, за исключением разве что дней, когда шёл дождь и он с утра и до вечера сидел в своей будке, слушая радио.

— Ты ж не американец, а? Из России? А я и в России был. Когда на Хоккайдо ездил. Идёшь в гору, всё время на север да на север, там и дорога такая: на этой стороне — Япония, на той — Россия.

Пошёл я в Россию, походил там и обратно пришёл. Одного из деревни нашей в России в плен взяли, так он потом приехал, ругался, мол, офицеры чуть не доконали, а вот рядовые, говорит, хорошие были, и бабы, мол, тоже. Говорил, один из десятерых вернулся, а остальные померли все — холод страшный, и кормят едва-едва. Как напьётся, сразу орёт чего-то по-русски: «Дабай, дабай!» Что за дабай — не знаю, а вот мне Россия понравилась.

На Хоккайдо она там, на той стороне дороги.

Старик загасил сигарету и сразу достал следующую, вставил в рот, но не стал зажигать и некоторое время молчал, перекатывая её губами.

— А как привезли нас на том корабле в Японию, увидел я этих американцев. А они же огромные все, с такими разве повоюешь? Зря наши войну затеяли — видать, не разобрались толком, вот и проиграли. Кто затеял? А у нас разве поймёшь? А по телевизору потом показали императора с ихним генералом, а император-то маленький рядом с ним, всё одно что ребёнок тебе. На войну-то? Никто не хотел, да тогда тебя не спрашивали. Ты сам-то откуда? А, ну да, из России. Был я в России.

Рис-то тогда был, женщины же работали, хоть и война. А вот соли не было. Вот и поехал я в Ниигата за солью. Еду на поезде, а по вагонам полицейские ходят, так они хоть и знают, что у меня в мешке рис, а не трогают — понимают. Но это японские. А если на американца нарвёшься — считай, с концами, всё отберут. Они к японцам строго, а если кореец или китаец — иди себе на все четыре стороны. Мы же их во время войны прижали, вот им теперь руки и развязали. Потому китайцы и ездили по деревням, рис соберут — и в города, на продажу. Да только им потом это дело вроде прикрыли. А может, и не прикрыли — иначе откуда сейчас столько развелось этих, которые якудза?

А в Ниигата приехал — на каждом перекрёстке пампаны крашенные стоят, в юбочках, мериканов поджидают. А у меня денег нету, рис один, и то его на соль менять надо. А от них ещё подцепишь что-нибудь. А как солдат ихний пройдёт, сразу к нему детей толпа — шоколад просят. И знаешь, получали. На детей-то мериканы зла не держали.

Все говорили тогда: хорошо, что Америке сдались, под русскими голодать только. А я разве знаю? Я в России не был, только видел её на той стороне дороги. Студенты-то вопили всё: коммунизм, мол, равенство, а как друг в друга стрелять стали, так уж и накрылось всё ихнее движение. А потом и жизнь другая стала, богатая, всем уже не до того было.

Мне тоже сигарету дашь? Вот и спасибо. А ты вроде на японца не похож. Ты сам-то откуда? А, ну да.

А сын у меня раньше всё в горы ходил — туристов спасать. В наших краях туристов много было, тогда ж все в горы ходили. Упадёт какой, и ищи его потом под обрывами. Если живой — ещё ладно. А мёртвого назад тащить — удовольствия мало. А теперь уже только старики в горы ходят. А молодые в город едут.

Там в городах-то война будто и не кончалась. Сын одно время тоже в Токио работал, так домой только в одиннадцать ночи приходишь, а потом вставать в шесть утра — и пошёл, и в субботу вставай, тоже на работу иди. Я вон на войне и то лучше жил. Только вот баб не было, вот и ходили все с овечками это самое. А сын там год проработал и назад вернулся, устроился здесь водителем автобуса. И правильно — тут и поле рисовое есть, вон, и овощи все свои. А на автобусе пару дней отъездил, и целый день отдыхай себе.

Эта гора тут вся моя, вот и выстроил тут эти домики для туристов. Сначала толпами приезжали, только деньги собирай. А потом уже и то им подавай, и это. Богатые, знаешь, стали. Всё за границу ездят — на что им деревня? Я вон тоже за границу ездил. В Италию. А в России не был, только видел: там дорога такая была, совсем как река вон там. На этой стороне — Япония, а на той — Россия. Но я ж туда не пошёл, вот и не знаю, как бы нам под русскими было...

12. О ПОЛЬЗЕ БЕСПРИНЦИПНОСТИ

— Эй, ты!

Не обращая внимания, я сделал ещё несколько шагов.

— Ты, на канате, тебе говорю! А ну быстро слез и всё убрал.

Я подумал, что было бы неплохо повернуться и, по крайней мере, оценить опасность, но решил, что это собьёт мне концентрацию, а свалиться в этот момент было бы как-то позорно. К тому же до дерева оставалось всего ничего, а двадцать метров, пройденных по

слэклэйн задом наперёд, были бы неплохим достижением.

— Чтоб тебя... — сзади послышался шелест листьев, и перед моими глазами возникла сначала метла из тонких веток бамбука, а затем лицо старика-смотрителя парка, красное то ли от ярости, то ли от китайской водки. — А ну сваливай отсюда, понял? Здесь такое только по разрешению можно. Разрешение в мэрии получишь, тогда и приходи. — Старик грозно помахал перед моим носом метлой. Мой приятель-японец, сидевший неподалёку на корточках, как мне показалось, сделал вид, что не имеет ко мне никакого отношения.

Детство в Стране Советов научило меня бояться власти в любых её проявлениях, и первый порыв был прыгнуть с каната и свалить, как велено. Потом стало как-то жалко уже пройденных пятнадцати с чем-то метров, да и вообще — чем я провинился? Деревья, как полагается, я аккуратно обмотал войлоком, прежде чем прикрепить свой канат. Вроде бы никому не мешаю, и единственная проблема в том, что старик-смотритель ещё никогда такого не видел, а в Японии, если прецедент неизвестен, то можно быть уверенным, что делать это нельзя.

Решив всё же защитить свои права, я принялся судорожно выстраивать в голове аргументы, отчего быстро потерял равновесие и свалился. Чертыхнувшись, я встал и уже приготовился накинуться на противника с правым гневом и железной логикой, когда с земли поднялся мой приятель, расправил плечи раза в полтора шире моих и подошёл к смотрителю. Я в тот же момент обрадовался, что у меня появился брат по оружию, и внутренне сжался, ожидая японской ссоры в её осакском варианте, когда дистанция между говорящими сокращается до немыслимых десяти сантиметров, и каждый показывает свою силу, грозно раскатывая все слова с буквой «р». Но зря.

Приятель спокойно проговорил: «Здравствуйте», — и поклонился. Смотритель, сразу успокоившись, уже повежливее снова потребовал, чтобы канат был снят, на что приятель послушно сказал, что так и будет сделано. Смотритель отошёл к дороге и принялся собирать метлой палые листья, почти не глядя на моего приятеля, который немедленно вспрыгнул на канат, повернулся задом и пошёл к дальнему дереву, балансируя вздёргнутыми кверху руками. Недоумевая, я спросил:

— Так что, мы не уходим?

— Зачем? — переспросил приятель. — Старик сделал свою работу и больше к нам соваться не будет. У него самого-то к нам претензий нет. Главное, что, если его прижмёт начальство, он теперь с чистой совестью сможет сказать, что долг свой исполнил.

Некоторое время я пытался понять, что в этом раскладе меня не устраивает.

— А почему ты ему не сказал, что мы ничего плохого не делаем? Про войлок на деревьях? И про то, что парк для того и существует, чтобы люди тут приятно проводили время, никому не мешая? Почему ты не попытался его разубедить?

— Разубедить? Да ему же всё равно — он просто следует каким-то там правилам, боится, что, если что-то случится, винить будут его. У него же нет убеждения, что он прав, а мы нет. А у кого убеждения нет, того и разубедить нельзя.

Сорок-пятьдесят лет тому назад люди с убеждениями из так называемого поколения данкай, в основном студенты, собирались сотнями тысяч вокруг здания парламента, стараясь защитить свои идеалы и отстоять Японию как мирное и самостоятельное государство. Движение проиграло по всем фронтам, договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был принят и фактически превратил Японию в колонию Америки. Но именно благодаря этому договору японская экономика начала набирать обороты, снабжая американские войска во время войны во Вьетнаме, в семидесятых наступила эпоха всеобщего благоденствия, и скоро оказалось, что все те, кто предал свои идеалы, живут намного лучше, что-то производят, что-то в обществе решают, в то время как мечтатели-борцы прозябают на задворках всеобщего рая. Так, мой японский тесть, школьный учитель, всю жизнь открыто проклинал японскую политику, отказывался вставать, когда в школе поднимали японский флаг, и не пел гимн, ставший в 30 — 40-е годы символом эпохи японского милитаризма, отчего так и не продвинулся по службе ни на шаг.

А отец моего японского приятеля по канатоходству, тоже учитель, когда ему предложили стать директором школы, рассудил иначе и каждое утро своими руками поднимал тот самый флаг, который в студенческое время топтал ногами на демонстрациях. Сейчас он состоит членом всевозможных комиссий в министерстве образования и меняет машину на получше каждые пару лет.

В Стране Советов всё было как-то проще. Мой дед, преподававший в университете историю Коммунистической партии Болгарии, приходил домой и учил внуков читать газеты между строк да слушать голос Америки. В этом не было ничего зазорного — или живёшь вот так, проводя чёткую границу между своими и чужими, между тем, что говоришь, и тем, что думаешь, или отправляешься в психушку или тюрьму. В Японии за убеждения не сажают — просто лишают прав на карьеру, делая тебя де-факто неудачником.

Наглядно показывая всем и каждому пользу жизни без убеждений. И именно потому, что выбор здесь вполне вольный, предательство становится намного серьёзнее того, советского, медленно проедаая общество насквозь.

Приятель, ни разу не свалившись, дошёл до конца каната, спрыгнул вниз, довольно потёр руки, с ухмылкой взглянул на меня и снова запрыгнул на канат. Смотритель, не обращая на нас никакого внимания, отложил метлу и стал собирать палые листья в большой полиэтиленовый пакет. А я достал сигарету и закурил — не убеждённый.

13. СЕМЬ «МЕРСЕДЕСОВ» И СПЛОШНАЯ ЛЮБОВЬ

Сейчас-то вон на том дерьме подержанном езжу, а тогда у меня семь «Мерседесов» в гараже стояло, по одному на день недели, как у других вон галстуков, понимаешь? Лучшая строительная фирма на весь город была — двести человек, не считая временных. Ты сам-то откуда? Из России? Ну, да там ведь холод страшный, а? А женщины, говорят, красивые, только толстеют все, как им тридцать стукнет.

Мой собеседник лукаво, совсем как ребёнок, проверяющий рамки дозволенного, взглянул на меня. Ему было под шестьдесят, пресловутое поколение данкай — людей, родившихся сразу после войны и построивших современную Японию.

— Не, я президентом компании был, что мне работать — так только: заеду иногда на стройку, погляжу, как да что. А все: «Здрассьте, господин президент компании!» Потом в гольф, а вечером — к бабам. Ну, конечно, гулял, чего ж не погулять-то? Нет, жена не жаловалась — а чего жаловаться-то, деньги-то идут! В Японии говорят: хорошо, когда муж здоровый да домой нос не кажет. Не знаю, как у вас там в России, а у нас хороший отец — это которого дети и в лицо не знают, главное, чтоб деньги в семью шли. Так вот и жили. А потом, как лопнула дутая экономика, ко мне к первому из банка пришли. Так, мол, и так, говорят, плати. А чем платить-то, когда я на все деньги земли накопил? А за неё уже и десяти процентов не дают... За один день — ни дома, ни «Мерседесов», ничего.

Его поколение больше любого другого испытало на себе главные послевоенные реформы образования. Во время оккупации американцы постарались разрушить общинный строй сознания, который, как им казалось, стоял в основе японского милитаризма, заменив его западным индивидуализмом с идеями вроде духовной и материальной самореализации, но в результате общество стало более унифицированным — любая деревенская община куда более многообразна, чем модернизированное городское население, — а самореализация в японском варианте свелась просто-напросто к деньгам.

— Друзей? Нет, друзей не было. У меня с этим чётко заведено было: сколько бы ты мне раньше добра ни сделал, если надобность в тебе пропала — всё, проваливай на все четыре стороны. Бизнес, понимаешь. Поэтому и просить было не у кого. Жена так и вовсе на следующий день детей взяла и к матери ушла. Потом опять замуж, кажется, вышла. А я месяцев пять подрабатывал, где придётся, денег малость скопил, в агентство отнёс и — в Китай. Холодная была деревня, маленькая, на границе с Россией. Тридцать девок передо мной выстроили, выбирай себе на вкус. Им-то что, пусть я старый да денег ни черта нету —

у них там зимой минус сорок, да и в пузо положить нечего. Вот и привёз эту. Красивая, а?

Девушка и правда была невероятно красива — разве что глаза были слишком уж кругловатыми, но в Японии это давно уже в моде — европейский тип лица.

— Ей? Ей семнадцать было. А мне пятьдесят два. Сначала, конечно, трудно было — плакала всё время, а я что могу? Я ж по-ихнему не понимаю. Не, не по-китайски, диалект там какой-то, национальное, знаешь, меньшинство. Потом, видишь, попривыкла, сына мне родила.

Я спросил, как он теперь зарабатывает на жизнь.

— Ну, так я ж раньше и сам строителем был, как-то худо-бедно подработать могу. Один раз накопил даже, чтоб в Китай съездить, к ней на родину. Я что понять сперва не мог, так это чего у них мужчины всё плачут. Увидели её, обниматься лезут, прям как бабы, слёзы всё. А когда смеются — аж по полу валяются, даже старики дряхлые. Смотрел я на них, смотрел, думаю: может, это у них всё правильно? Может, людям как раз вот так жить и надо? Сиж у них в домике на скамейке, вдруг как заплачу. А они меня окружили все, говорят чего-то, а я и понять ничего не могу, только рыдаю сам, как баба. Вот тогда-то меня и проняло.

Теперь? Теперь я как работу кончу, сразу домой — а куда ж идти-то, на теперешнюю зарплату? Она меня встретит, поцелует, а какая японская жена, спрашивается, мужа целует? Ну вот. Поедим вместе, как в семье полагается, она посуду моет, а я с мелким играть. Считаю, в первый раз по-настоящему отцом стал. Эй, Синтаро! Мяч лови! Да нет, ты руки вот так вот выставляй. Да не так. Идиотина... Видал? Чуть пикну на него, сразу к матери бежит. Балует она его, а? Эй, ты! Сварился рис? Нет? А что ты там возишься с костром-то? Тоже мне, деревенская. Вот как надо, видала? И все дела!

Она-то? Слушается, куда денется. Если б не я, где бы она сейчас была? Не то что японка, нашим только деньги нужны — это купи, то, туда её свози, сюда. А эту накормишь, ей и счастье.

Если б я опять разбогатеть мог? Не, не надо мне. На еду хватает, вон даже машина теперь есть, хоть и не «Мерседес», да ездит пока вроде. Жена, сын. Я теперь, считай, не японец — японцам вечно подавай всё лучше бы да больше, телевизор новый, машину новую, на Гуам в Новый год, а когда же остановиться да счастье своё прочувствовать, а? Я-то знаю — сам таким был. Но теперь меня не проведёшь.

А ты сюда часто с детьми-то выезжаешь? Ну правильно, озеро, горы, и дёшево, не то что в других кемпингах. Хибары тут, конечно, гнилые, а что человеку надо? Крыша над головой есть, рыбку наловил, костёр разжёл, и сидишь себе: природа. А жена твоя сейчас где? Работает? У нас такого не бывает, чтобы жена работала, а отец с детьми прохлаждался... Чем занимаешься-то? Пишешь? Ну, пиши, пиши, вон про меня напиши. У нас в Японии всё просто: если ты мужчина, главное, чтобы у тебя хребет был. Чтоб ты знал, что тебе надо.

Кто ты такой, если у тебя цели нет? А?

14. О ВАГОННОЙ МРАЗИ

Поезд шёл из Эрдэнэта в Улан-Батор. Вагон был плацкартный, на сидячих местах — три дремлющих старухи и хрупкая монгольская девушка лет семнадцати, на лежачих — я и американец под два метра, вдвоём с которым мы и поехали из Японии путешествовать по монгольским степям. Часов в одиннадцать в купе ввалилось трое подвыпивших люмпенов в полосатых майках с татуировками на железных бицепсах, двое встали позади, нагло ухмыляясь, а третий повыше и пожелезнее — очевидно, главарь — подошёл к девушке и начал приставать. Та сидела, опустив глаза, практически не отвечая, но было совершенно ясно, что она напугана до смерти. Старухи пооткрывали по глазу, смекнули, что пахнет палёным, и задремали дальше. Я переглянулся с американцем, лежавшим на верхней койке. Хоть и долговязый, тот был не сильно уверен в своих боевых способностях и еле заметно

качнул головой: «Убьют». Я лежал и тоже думал: «Встану — убьют. А не встану — как жить-то дальше?» Монгол уже перешёл от слов к делу и полез к девице лапаться. Я не выдержал и встал.

Подрагивая коленками, я подошёл к главарю, положил тому руку на плечо и промямлил по-русски: «А может, не надо?» Монгол резко обернулся, секунду стоял, оценивая ситуацию. Потом грозно спросил что-то по-монгольски. Я, ещё больше напугавшись, повторил своё: «Может, не надо?» Разобрав, что с ним говорят по-русски, монгол вдруг просиял и по-русски же спросил: «Ты чё, из России, что ли?» Не решаясь верить в то, что, может быть, пронесло, я ответил, что да. И провёл следующие часа два с тяжеленным бицепсом монгола на плече, слушая рацеи о величии Чингисхана да дружбе народов, то и дело прикладываясь к бутылке отвратительной водки, которую тот от широкой монгольской души немедленно купил для меня в вагоне-ресторане.

Вспоминая об этом уже после возвращения в Японию, я вдруг понял, что в Японии напрочь отсутствует одна категория людей, без которой не обойдёшься ни в одной приличной стране, — здесь нет мрази.

Есть тираны-начальники, которые получают массу удовольствия, делая из твоей жизни настоящий ад. Есть мелкие пройдохи, которые втихомолку облапошат тебя и не поморщатся. Наконец, полно народа, который готов поступиться многим во имя выгоды. Но вот мрази, обычной вагонной мрази, в Японии просто нет.

Мне ни разу не приходилось видеть, чтобы сильный нападал на слабого. Чтобы издевались над детьми или женщинами. И даже пресловутый японский тикан — лапанье девиц в набитом транспорте — нередко кончается трогательной сценой на платформе: грозная накрашенная девица стоит и орёт: «Извращенец!», — а лысоватый служащий в выглаженном костюме, аккуратно поставив портфельчик рядом, стоит перед ней на коленях и усиленно бьёт челом.

Зло удерживается обществом в довольно узких рамках. Сказываются и жёсткий остракизм любых отхождений от норм, и строгие законы против насилия, и ощущение, которое есть у каждого японца, от премьер-министра до мелкого хулигана, — что народ, японский народ, это всегда не ты и не группа твоих друзей — это что-то ещё рядом, но не тут. Что этот народ на тебя смотрит и тебя судит. И что с ним надо считаться.

Когда зло невелико, жить комфортно. Единственная проблема — добро от этого тоже мельчает. Никогда не знаешь, кому можно довериться на все сто, — просто потому, что жизнь не ставит ни перед кем сколько-нибудь значительного выбора, не испытывает тебя мразью. Все мои друзья-японцы, выслушав историю с монгольским поездом, лишь поражённо качали головой: «Заграница!» И только один, глава отдела в известной компании, намертво встроенный в систему японского процветания, рассказал мне в ответ историю, которая, как ему казалось, была сопоставима с моей:

— Давнее дело, мне тогда лет двенадцать было, едем мы с братом на поезде домой со стадиона Косиэн — на бейсбольный матч ходили. Доехали до Амагасаки, это тогда был такой неказистый город на море: сплошные маленькие фабрики да рабочие-подёнщики, которые весь дневной заработок на тамошних лодочных гонках просаживали. Ну вот, вдруг вваливается в вагон вдрызг пьяный мужик под пятьдесят, здоровенный такой, наверное, прошёл и войну, и нищету после войны, потрёпанный весь. Все расступились — от него ж несёт, ручищами размахивает, круг вокруг него образовался, а мы с братом перепугались, так и стоим посреди вагона, шелохнуться не можем. Мужик меня увидел, руку мне на плечо положил вот так, а рука-то тяжеленная, и говорит: «Ах ты бесёнок бритоголовый! Кепарик у тебя какой, а?» Я мямлю что-то, мол, школьный у меня кепарик, дядь, не берите, в школе заругают. А тот говорит: «Кошелёк есть у тебя?» Я киваю. «Доставай!» — говорит. Я дрожащей рукой достаю свой жабий рот — ну, кошелёк с мелочью, маленький такой, с защёлкой — и протягиваю его пьяному. А тот вдруг как сунет руку себе в карман, вытащил оттуда пачку купюр в десять тысяч иен каждая и давай совать их моей жабе в рот. Я ещё больше испугался, тяну кошелёк на себя, мол, мне, дяденька, не надо. Тут поезд как раз к

следующей станции подъехал, как-то я выдрал свой кошелек у него из рук, купюры бросил, и давай драть оттуда.

Мой японский знакомый мечтательно поднял глаза к небу.

— Я потом не раз думал: вырасту взрослым, буду таким, как он.

15. МЛАДШАЯ СЕСТРА

Боишься, да? Боишься, что у тебя дом отберут? Довольно высокая японка среднего класса стояла перед моей входной дверью, не давая мне войти в дом. Стояла спиной к свету, и лица её было почти не разглядеть. Длинные всклокоченные чёрные волосы, длинное синее платье с блёстками, недешёвое, очевидно из магазина этнической одежды. Постепенно мои глаза привыкли, и я разглядел её глаза — круглые, немного выпученные.

— Ты кто? — сказал я, почему-то сразу на «ты».

— Духи я купила, Кристиан Диор, — ответила она, показывая мне белый пакет с надписью «Christian Dior». Кожа на руке, которой она держала пакет, была морщинистая, дрожащие пальцы — тонкие и скрученные. От неё скверно пахло.

— Почём? — спросил я, почувствовав, что она ждёт именно этого вопроса.

Она оглянулась, словно чтобы удостовериться, что нас никто не подслушивает.

— Тридцать восемь тысяч, — проговорила она, понизив голос до шёпота. Затем добавила, оправдываясь: — На пять лет хватит.

Выпученные глаза смотрели на меня, беспрестанно двигаясь, словно отыскивая что-то на моём лице.

— Нельзя упавшие цветы собирать, — сказала она и показала дрожащим пальцем на куст сирени с белыми цветами, который рос на той стороне забора возле моего дома. — А то сирень подумает, что ты её не любишь, и не расцветёт больше на следующий год.

Я позволил себе засомневаться.

— Точно? — сказал я.

— Точно, — ответила она твёрдо. В глазах её выступили слёзы. — У матери спина больная была, она подметать не могла, вот я ей и сказала: «Я, мам, за тебя подметать буду». И подметала каждый день. У брата яйца не опустились, ему мошонку резали, когда ему восемь лет было, а мы с матерью перед дверью стояли, ждали его, дальше-то врачи не пускали, говорят, страшно вам будет. А он всё кричит там за дверью: «Больно, больно...»

Голос был надрывный, и в то же время казалось, будто она вполне контролирует себя. Слёз в глазах стало больше, но по щекам они не потекли.

— Брат мой где? — вдруг спросила она резко. Я вздрогнул.

— Не знаю, — сказал я. — Не видел я его никогда.

Её выпученные глаза ещё больше расширились.

— Как же ты у него дом снял? Страшный он человек... Все деньги родительские взял, дом взял, ничего мне не оставил. Всегда ему два леденца было, а мне один. Я деньги у него просить пришла.

Впервые за весь разговор она отвела глаза и некоторое время молчала.

— В ванну меня не пускает, говорит, воняешь ты, а ванна для гостей.

— Брат? — переспросил я.

— Муж, — ответила она. — А у меня кожа красивая, мне все говорят, а в косметических кабинетах с меня денег не берут, говорят, никогда такой красивой кожи не видели. И брови. Посмотри, какие у меня брови.

Она провела пальцем по обеим бровям, повторяя изгибы. Брови были тонкие и отстояли довольно далеко от глаз, как у японских красавиц лет двести назад. Я подумал, что в молодости она наверняка считалась красивой.

— У тебя дети-то есть? — спросил я.

— Дочка на самолётах работает. Стюардессы, они же все на полставки. А она на полной.

Она снова оглянулась по сторонам и прошептала:

— Грудь у неё большие, так соседи все завидуют, сглазить её норовили, а я с ними вежливо, всегда два раза здоровалась.

С хитрым видом она опустила глаза, положила руки на бёдра, и два раза низко поклонилась.

Некоторое время я молча смотрел на неё, потом отправился в дом и позвонил в другой город, хозяину моего дома, работавшему большой шишкой в каком-то банке. Она действительно оказалась его сестрой. Не слишком удивившись, хозяин извинился, попросил меня вызвать ей такси и отправить на ближайшую станцию. Вызвав такси, я сделал чашку кофе и отнёс ей.

Кофе она взяла, но пить не стала, и некоторое время стояла, разглядывая свои ботинки — тоже с этническим налётом.

— Я во Францию еду. Прямо сейчас. Духи-то я уже купила. Вот там жизнь будет.

Я подумал, что она уже была во Франции не раз и, если муж не отнял у неё кредитную карточку, вполне доедет и сейчас.

Не подымая головы, она посмотрела на меня снизу вверх и хитро подмигнула:

— Красавец ты. А ну повернись.

Я повернулся к ней спиной. Она потыкала пальцем мне в спину.

— Хорошее у тебя тело. Поджарое. Спортом занимаешься?

— В горы хожу.

Приехало такси, и я взял у неё из рук чашку невыпитого кофе.

— В горах медведи. Задерут они тебя, поджарого, — с неожиданной нежностью сказала она. Затем покорно села в машину и уехала.

16. РАЗМЕН ДЕНЕГ В КАССЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

Мой новый японский приятель, страховой агент лет сорока, крепко сбитый, но с хронической усталостью в глазах, присел на скамейку в парке перед домом и задумался.

— Самый интересный клиент? Наверное, тот нейрохирург с одного маленького острова на юге. Я попал к нему по связи — иначе к тамошним не подберёшься: просто бухгалтерша из нашей фирмы как раз с его острова, вот через неё он на меня и вышел. У него, понимаешь, любовница, дети от неё, жена ему до лампочки, вот и искал способа передать любовнице свои деньги. А денег много — он, знаешь, врач известный, к нему на этот островок — кстати, дыра ещё та, всего тысяч сорок населения — со всей страны пациенты на самолётах летают. А наша страховка — способ верный. Всё законно, он умирает, любовница получает всё его состояние, а жена ничего и оспорить не сможет. Но интересно, знаешь, даже не это. А то, что он попросил эту нашу бухгалтершу приехать со мной да проверить его больницу, нет ли проблем каких, так она минут тридцать полистала-полистала учётные книги и видит: сорока миллионов не хватает.

Приятель сделал эффектную паузу.

— Его тогда рядом не было, мы с ним тем вечером в одном баре встретились. Ну, выпили, моя бухгалтерша ему и говорит: так, мол, и так, ваша сотрудница такая-то присвоила себе сорок ваших миллионов. А он помолчал немного, повёл так подбородком, усмехнулся и говорит: «Ну и ладно». Я говорю: «Как же так, сэнсэй? Сорок миллионов же!» А он мне говорит: «Ну так они же всё равно на острове останутся. У нас тут, знаете, вроде как семья большая. Пускай». У меня челюсть отвалилась. В такой дыре, знаешь, на эти деньги не одну — две жизни прожить можно. И тут как раз звонок ему, из больницы. Поговорил пару минут, встал, а сам пьяный уже, качается, и говорит: «Вы уж простите, срочная операция. А страховку я вашу покупаю, завтра утром приходите». Вот так. Расплатился за нас и ушёл, кому-то в мозгах копать. Представляешь? Человек, а!

Мой приятель уже дослужился до начальника отдела, у него пятьдесят человек подчинённых, ездит он на роскошной машине с дверью на электрическом приводе, а дома

имеет плазменный телевизор от стены до стены. Но жизнь у него всё равно беспокойная — раз в четыре года фирма переводит его в другое отделение, бросают из города в город. Делается это для того, чтобы не было так называемого ютяку — прилипания, то есть сговоров между сотрудником фирмы и местным населением. Точно так же бросают по всей стране банкиров, государственных служащих, да и вообще практически всех, кто работает в хоть немного развитых структурах. Эта идея — что дружить надо со всеми, а не с отдельными — дошла даже до начальных классов школ, где учеников пересаживают с парты на парту чуть не каждый месяц. Именно так в Японии продвигали капитализм с демократией, поскольку и тому, и другому традиционные связи между людьми просто мешают. И во многом именно поэтому у большинства японцев друзей просто нет — прилипнуть не успеваешь.

Ровно наоборот живут японские деревни (особенно рыбацкие) и якудзы. Здесь жизнь как раз построена на склеенности всех воедино и отторжении чужих. Здесь и закон, и деньги намного менее функциональны — якудзы и деревенские гораздо больше рассчитывают на друзей и связи, да и ценят их выше. Для служащего государство — главная защита его статуса члена среднего класса. Для якудзы и деревенских — досадная внешняя помеха. И если для служащего страна — совокупность всех её граждан, то для якудзы и человека деревенского страна — вообще понятие эфемерное, поскольку всё, что ему важно, — это группа своих, людей, которых он непосредственно знает и на которых может рассчитывать. Примерно то же справедливо и для мелких лавочников. И, наверное, для России — от её нищих до её президентов.

— Ваш Путин, наверное, человек вроде этого моего нейрохирурга, да?

Я киваю.

— У меня в фирме он бы и дня не продержался. Но на том острове был бы своим.

Мой приятель мечтает о доме с садом, с деревом в саду. Мечтает о спокойной жизни, которая ждёт его где-то там, далеко, на пенсии. О вечерах, которые можно провести в кругу семьи, а не в баре с очередным надоедливym клиентом.

О друзьях, с которыми он может вспоминать былое, вместе пережитое — не как со мной, ведь познакомились мы просто потому, что наши дети ходят в один класс, и дружба у нас будет, боюсь, недолгая. Но когда его станут в очередной раз переводить в другой филиал, он не будет просить, чтобы его оставили в нашем городе, — скорее всего, не разрешат, а если и разрешат, зарплату точно не повысят. «А я, знаешь, зарабатывать люблю».

Зарабатывать любит и его жена. Недавно она пристроила детей на продлёнку и работает на полставки кассиршей в супермаркете неподалёку, хотя деньги семье не так уж и нужны — единственным результатом её трудов, пожалуй, станет ещё одна поездка семьёй дней на пять на Гавайи. Однажды я подошёл к её кассе, она расторопно обслужила меня, уложила покупки в полиэтиленовый пакет, излишне вежливо поблагодарила, затем посмотрела на меня, и я увидел в её глазах усталость — ту же самую, что у мужа. Я отвёл взгляд и увидел надпись на кассе «We can't change».

17. РАЗГОВОРЫ У ПАРИКМАХЕРА

Парикмахер мой — маленький, лысый и очень работающий человек уже за шестьдесят. В город он приехал из маленькой рыбацкой деревни на другом конце Японии, где строил рыбакам лодки. Да только было это ему неинтересно.

— Хорошо лодку сделаешь — рыбак к тебе лет двадцать не придёт, потому как не ломается она. А плохо сделаешь — тоже не придёт, потому как доверия к тебе не будет. Неинтересно же. А волосы — не лодки. Как хорошо ни подстрижешь, всё равно через месяц-два отрастут.

...А ещё, знаешь, в деревне глаза были. Вот выйдешь в магазин, а про тебя говорят, что ты в магазин вышел. купишь там лепёшку рисовую, а про тебя говорят, что ты лепёшку рисовую купил. Могут и добавить, что у тебя жена готовит плохо, потому вон и купил. Или

что ты к соседке хаживаешь, потому жена и не кормит. А могут и не сказать. Но смотреть-то смотрят. А в городе живёшь себе, как хочешь — на тебя не смотрит никто, да и сам не смотришь — надо, что ли?

Парикмахер закончил меня стричь, положил левую руку мне на плечо, оттопырил средний палец, взялся за него правой рукой и начал поддёргивать за него, имитируя массажный аппарат. Потом проделал то же самое с другим плечом. Затем по очереди ударил по обоим плечам сложенными ладонями, которые звучно брякнули друг о друга, словно две дощечки — не представляю, как это у него получается, — что означало, что сеанс закончен. Я расплатился, но вместо того, чтобы уходить, прошёл в кухню — мне хотелось выкурить с дочкой парикмахера сигарету, послушать новости. Но вместо кухни она, приложив палец к губам, провела меня вглубь дома, остановилась перед массивной дверью, повернула ключ в замке, распахнула дверь и включила свет:

— Вон, погляди на счастье отцовское. Только быстро, а то придёт ещё.

Для японского дома комната была просто огромная, в середине — мраморный стол, на столе — пепельница, тоже из мрамора, у стола — два кресла, очевидно, сделанных некогда для Людовика XIV, а вокруг — бесконечные скульптуры Венер, в разных позах и с разной степенью обнажённости. Все стены были завешаны тяжёлыми бордовыми шторами, хотя ни одного окна не было — очевидно, чтобы Япония, не дай бог, не влезла в щёлку и не растерзала нежную Европу когтями.

— Каждая Венера — мильон иен, не меньше, — сказала дочка парикмахера. — На столе, видишь, пепельница, а курить нельзя — чтоб не воняло. Отец каждый день чистоту тут наводит, чтоб ни пылиночки, на ключ запрёт, никого не пускает, стрижёт кому-нибудь волосы, вертится, про тяжёлую жизнь слушает, говорит: «Да неужели, да я б никогда не поверил», — а сам себе думает: «У меня Венер полная комната». А Венеры, вишь, по кругу стоят, на пепельницу смотрят, думают: «Курнуть бы. Ан нельзя. Строгий он». Вот брат и свихнулся.

Сын парикмахера был добрый, даже слишком добрый и преувеличенно вежливый, маленький, как и его отец, но в юности занимался японским единоборством. После университета он одно время работал коммивояжёром в фармацевтическую фирму и развозил лекарства по аптекам.

— Какой водила на него посмотрит не так, а он выйдет, подойдёт, и — в глаз. А если тот дверцу не откроет, так он ему зеркало сломает, и — в речку. А один раз сам получил, да так, что челюсть надвое раскололо — пластину ему вставили, три месяца с закрытым ртом ходил. А пластина так и осталась. Кажись, медная... А потом с отцом работать стал, а у отца в голове Венеры одни, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Парню тяжело, одно время стриг каждого по часу — чтоб не облажаться, — а потом совсем худо стало, из туалета выйти не мог. Выключит свет, а ему кажется, что не до конца выключатель нажал, снова включит, и так часа два — то включает, то выключает. Перестал он работать, волосами оброс, в коридоре манга стопками лежат, не пройдёшь, а в комнату свою не пускает. Сам воняет, как бездомный, а рядом — дом, специально для него отцом выстроенный, стоит, красивенький весь такой, а он туда и не заходит... Отец его к доктору, а доктор говорит: болезнь. И ещё название сказал, сначала по-английски, а потом и иероглифы на бумажке написал. Европейская, говорит, болезнь, раньше не было таких. Пришлось отцу одному на Венер зарабатывать, так и живём. Ладно, в кухню пошли.

Мы сели у стола с уже функциональной пепельницей и закурили.

— Слушай, а мы тут к родне ездили, так там ребёнок один двухлетний, груди трогать любит. Так я его посадила к себе на колени, а он сразу мне руку под кофту, шарит там, шарит, потом повернётся и орёт на всю комнату: «Мам, нету!» Вся родня хохочет, конечно, ну и я тоже. А чего мне дёргаться? Всё уже, срок годности истёк.

Дочка парикмахера держит в соседнем доме косметический салон. К ней приходят дамы, ложатся на кровать, а дочка парикмахера накладывает на них маски и мази и слушает бесконечные истории о тяжёлой жизни — в основном о том, что им приходится терпеть от

мужа и свекрови. Ни мужа, ни свекрови у дочки парикмахера нет, зато есть умелые руки с потрескавшейся от мазей кожей.

Докурив, я вышел на улицу. На витрине к Рождеству были выставлены санки, на которых сидел бородатый Санта-Клаус с мешком за плечом. Санта был, очевидно, куплен в магазине, а вот санки парикмахер изготовил из фанеры сам. По форме они были похожи на рыбацью лодку — разок просмолишь, и в море.

18. СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ И РОЗОВЫЕ ФУТОНЫ

Высокий жилистый парень под тридцать с длинными, как полагается артисту, волосами, глазами с романтической дымкой и некоторой неуверенностью в изгибе рта сидит передо мной, сложив ноги, длинные пальцы как-то по-женски держат сигарету.

— Представьте, дом многоквартирный, стоит уже лет тридцать, люди со всей Японии приехали, прожили вместе полжизни, детей народили, состарились, а друг друга почти не знают. Ну не нужно это современному человеку, сейчас же каждый за себя — отработал своё и сиди себе, телевизор смотри. Не то что раньше, в деревнях. Вот мы и поставили там чан с краской и объявили всем, что будем им простыни красить. Сначала никто не интересовался, а потом стали приходить домохозяйки, то поодиночке, то вдвоём — покрасят и домой несут. Дом стоит буквой П, просыпаешься утром, идёшь на балкон футон вешать, а на той стороне уже на трёх балконах футоны с розовыми простынями висят, как у тебя. Вот и другие стали приходить — интересно. Через месяц, когда мы уезжали, почти весь дом был розовыми футонами увешан. Мелочь, а всё-таки новая связь какая-то, что-то, о чём им теперь поговорить можно.

Или вот храм один на юге страны. Там тысячелетний дуб недавно пришлось спилить. Монахам стыдно, что он при них засох, — так я предложил настоятелю огородить это место и складывать там опавшие листья с других деревьев, будто то дерево ещё стоит. Вроде негатива получается, понимаете? Деревя нет уже, а листья лежат. Идут люди мимо, кто-то и вспомнит о нём. Старики внукам о нём рассказывают, и так далее. Сейчас культура пропадает, её же как-то передавать надо следующим поколениям.

Как сотни и тысячи подобных, мой собеседник работает по всей Японии, выбивая из муниципалитетов деньги на различные художественные проекты, идея которых — налаживать потерянные во время индустриализации связи между людьми, поднимать общины.

Действительно, со связями в Японии плохо. Пятьдесят лет тому назад к ближайшим соседям ещё можно было зайти, когда пожелаешь, одолжить соевый соус или мисо, а когда у тебя был лишний сладкий пирожок, ты нес его или соседу, или приятелю — просто потому, что на таких связях всё в общем-то и держалось. В процессе модернизации горожан вытащили из общин в фирмы, объяснили, что главное — встать на ноги и отвечать за себя, но в результате — во всяком случае, в новых районах, где селится средний класс, — получили не общество индивидуумов западного типа, а общество категорий. Имена собственные ушли в прошлое, подменённые именами нарицательными, и человек, раньше состоявший из пучка индивидуальных связей с другими индивидуумами своей маленькой общины, превратился в пучок обезличенных категорий — отца, соседа, подчинённого, пассажира, заказчика, покупателя. Эта система позволяет ему оперировать в гораздо большем обществе, да и функционирует, наверное, лучше, но меня, честно говоря, пугает, когда двое молодых должны сначала оговорить рамки происходящего (например, фразой «Будешь моей девушкой?») и только потом могут поцеловаться. Люди в любой момент жизни точно знают, какую они играют роль, могут отчитаться перед собой и другими в рациональности своих поступков, а свой успех, как и поражение, смакуют в одиночестве.

Ощущение, что с этим новым обществом что-то не так, начало нарастать совсем недавно, лет пять-десять назад. Наверное, сказался кризис, постепенный развал системы пожизненного найма, понимание того, что стоит тебе потерять работу, и никто тебе не

поможет, да и быстрое старение общества. На муниципалитеты легло бремя заботы о растущем числе стариков и безработных, ведь при отсутствии функционирующих общин за социально слабыми пришлось смотреть именно им. А поскольку из-за нехватки бюджета усмотреть за всеми просто не удаётся, начальство решило повернуть вспять — и начать возрождать общины. Отсюда и запрос на современное искусство и длинноволосых юношей с романтизмом в глазах.

Мне часто приходилось встречаться с ними, и каждый раз я пытался понять, что меня в них бесит. И, как мне кажется, понял. «Если знаешь, что хочешь написать, писать и смысла нет: неинтересно. А если не знаешь, так и написать не можешь», — так один университетский приятель объяснил мне, почему он не написал ни одной научной работы. В конце концов он ушёл из университета. А через некоторое время начал писать, и довольно неплохо. Я спросил его, как ему это удаётся. Он ответил: «Выход нашёл: начинаю писать, толком не представляя себе, чем кончу. И когда я пишу абзац, не зная, каким будет следующий, когда текст наполовину пишет себя сам, тогда — хотя и не всегда — у меня бывает шанс».

У длинноволосых всё гораздо проще, для них всегда ясен и вопрос, и ответ. В их проектах всегда одни и те же ключевые слова: связи между людьми, между людьми и природой, возврат к простоте, к прошлому, к общинам. Но при этом они серьёзны, как проповедники, и в связях, которые выстраиваются с их помощью, нет ни смелости, ни смеха прежних эпох. Для этих парней нет настоящего — есть только идеальное прошлое и идеальное будущее. Для них нет случайностей. Их тексты сами себя не пишут.

Жизнь, которой жили японцы во время стремительного роста экономики, была так же хорошо спланирована, как и теперешнее искусство длинноволосых. Может, поэтому она и была не очень-то жизнью. А искусство, которым пытаются её подлатать, не очень-то искусство.

19. ТЫ ИЛИ ОНИ

Несколько мотоциклов с громовым рёвом кружили вокруг дома, сперва проезжая по узкой улочке нашего тихого квартала, потом мимо рисового поля с вечно квакающими лягушками, затем выезжали на дорогу пошире, которая вела к речке и недавно выстроенному мосту, и опять к нашему дому, снова и снова. Было часов десять вечера, дети едва заснули, притом двухлетняя дочка только успела оправиться после простуды. Жена хотела было вызвать полицию, но передумала: во-первых, потому что знала моё отвращение к любым стражам порядка, даже японским, а во-вторых, потому что полицейские всё равно приехали бы слишком поздно, когда шпана уже успеет разбудить всю округу и уехать. Вместо этого она заявила, чтобы я и не думал выходить на улицу, и принялась мыть оставшуюся от ужина посуду, гремя тарелками и бурча что-то себе под нос.

Я сидел за кухонным столом, нервно затягиваясь сигаретой и представляя себе весь букет, ожидающий меня на улице: я робко стою в середине грозного круга шпаны, перепалка, потом подбитые глаза, может быть, переломанные кости и — уж точно — позор поражения. Потом подумал, что не выйти будет ещё позорнее. Парни на улице начали подвывать переделанными глушителями ещё музыкальнее, тарелки загремели громче, жена в который раз взглянула на меня с беспомощной яростью в глазах — и я, не выдержав, выбежал на улицу.

Мотоциклы как раз миновали поле, гуськом выехали на широкую дорогу. Я спрятался за выступом забора, тщетно пытаюсь унять дрожь в ногах, и, когда первый парень подъехал, выскочил из засады и схватил покачивавшийся мотоцикл за руль, вывернув ручку газа назад. От неожиданности парень потерял равновесие и вместе с мотоциклом медленно повалился на землю.

Остальные подъехали, остановились, слезли с мотоциклов и грозно встали кругом — совсем так, как я себе и представлял эту сцену. Их было человек десять. Подъехавший

последним низкорослый парень лет двадцати пяти с квадратными скулами и важным видом — судя по всему, предводитель группы — подошёл к упавшему, помог ему выкарабкаться из-под мотоцикла и спросил: «Не поранился?» «Нет», — ответил тот. Двое одновременно посмотрели на лежащий на земле мотоцикл, маленькую «Хонду». Лидер приподнял мотоцикл, неспешно осмотрел его. «Поцарапан», — веско проговорил он. Затем перевёл взгляд на меня. Я внутренне напрягся, готовясь к битве. А тот, спокойно доставая мобильник, ещё более веско добавил: «Зовём полицию».

Я не успел отреагировать — хотя и сейчас не очень представляю себе, что мог бы на это сказать, — как вдруг из дома вылетела жена, яростно размахивая самокатом нашего четырёхлетнего сына. Остановилась на мгновение, пытаюсь понять, что происходит. Потом, отыскав главаря, решительно подошла к нему и обрушила на него самое страшное ругательство японского языка, которое значит что-то вроде: «Ты что же это делаешь, а?» Несколько секунд все молчали. Лидер, казалось, искал нужные слова. Остальные выжидающе смотрели на него. Наконец он раскрыл рот и робко проговорил: «А что, так громко было? Мы, это... не хотели конкретно вам помешать».

Я вдруг вспомнил одного своего приятеля-латыша из маленькой деревни недалеко от эстонской границы, человека неглупого, отзывчивого и в высшей степени достойного. Как-то раз мы разговаривали за бутылкой о России, её вечных проблемах и сложной истории, и он вдруг заявил:

— Знаешь, вот настоящий, стопроцентный русский — это мужик нормальный. А вот когда у человека намешано всего — еврейского там, польского, не знаю, так, что хрен разберёшь, — тогда вот точно туши свет. От этих полукровок все ваши проблемы.

— Слушай, — сказал я, — но я ж как раз такой полукровка и есть. Отец у меня еврей, у матери тоже всё непросто, а дети так и совсем японцы. Что, значит, от меня все проблемы, что ли?

Приятель отпрянул на мгновение, потом развёл руками, показывая, что такой реакции от меня совершенно не ожидал, и сказал:

— Ну ты чего, совсем, что ли... Я ж не про тебя!

С лидером мотоциклистов мы поговорили ещё минут десять, договорились, что они не будут больше ездить вокруг нашего дома и что когда-нибудь мы все вместе сходим и выпьем, чтоб ни у кого не оставалось дурных чувств. Они действительно больше ни разу не появились. Хотя, к сожалению, пить меня тоже не позвали.

За эти десять минут я так и не понял, что было у этого парня в голове. И почему человек, казалось бы, бросающий вызов обществу, был готов призвать на помощь своего главного врага — стража порядка. Но главный вопрос, который мучает меня до сих пор, — это почему люди, которые готовы запросто мешать всем, при этом вовсе не имеют в виду мешать конкретно мне. Почему все полукровки — сволочи, а вот тебе, брат, последнюю рубашку отдам. Наверное, я просто не могу понять, где грань между категорией и индивидуумом.

Понять бы...

20. КОНСКИЙ НАВОЗ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЧУВСТВ

На землетрясении в Кобэ двести миллионов заработали. Большая часть, конечно, боссу досталась, да только мне тоже малость перепало. Он, понимаешь, в налогах не больно силён, даже в университете не учился, вот и говорит мне: давай-ка, мол, настрои мне декларацию как следует, ты ж раньше в мэрии работал, знаешь, что там и как. А я, что, дурак что ли? Сразу говорю ему: «У меня, знаешь, в списке обязанностей такого не написано». Он поглядел на меня, поглядел, да и сдался: десять миллионов мне отписал, за услуги. Вот на них я себе ресторан в Таиланде и купил, жену завёл вторую, ребёнка.

Жена потом, правда, в Бангкок сбежала, к любовнику, а ребёнка мне оставила — у них там это дело обычное. А мать её мне сразу новую подыскала, из той же деревни.

Молоденькую.

С этого землетрясения даже не знаю, сколько сделаем — отсюда всё-таки далековато, — да, наверное, тоже не мало: у босса вон уже вторую неделю улыбочка с лица не слезает.

Мой частный ученик, толстый и низенький малый уже за пятьдесят, который в молодости ходил в Гималаи и до сих пор может без верёвки взобраться по тринадцатиметровой стене Осацкого замка, гордо называет себя торговцем. Окончив университет, он было устроился на работу в мэрии, но выдержал всего несколько лет — донимало и слепое равнение на прецеденты, и ещё то, что и отец, и дед — оба мелкие торговцы — презирали его за бесхребетный выбор. Уволившись, он устроился в фирму, торгующую подержанной строительной техникой — бульдозерами, кранами, тракторами. И с тех пор в нарочито потрёпанной одежде объезжает строителей, оказавшихся на грани разорения, за гроши скупает у них старую технику, и продаёт её раз в десять дороже в азиатские страны. Но после каждого землетрясения гораздо выгоднее торговать с поражёнными регионами.

— Наживаемся, говоришь, на чужой беде? Ну да. А чего плохого? Мы же торговцы, должны деньги зарабатывать. Работа у нас такая.

Другой мой ученик — уже глубокий старик, приезжающий на урок на новеньком «Мерседесе». Родился он в семье, которая много поколений занималась изготовлением сакэ — ничего грандиозного, просто лавка в торговом квартале. Разбогател старик во время войны, когда его приписали к кавалерийскому полку самого императора, отчего в боях ему участвовать не пришлось, и он проводил много времени в конюшне, вычищая боксы, причём без грамма спиртного во рту — риса в полку было вдоволь, но сакэ по военному времени было не достать. Однажды зимой, когда он валялся на сене да глядел на кучу конского навоза, который довольно долго хранит тепло, ему пришла в голову мысль — готовить в навозном тепле закваску для сакэ. Идея сработала, он быстро наладил производство, снабжал ценным продуктом вышестоящих чинов и скоро уже заведовал снабжением полка. Когда война кончилась, он прибрал к рукам пару вагонов кожаных сапог, которые не успели отправить на фронт. Распродал их на чёрном рынке босому народу, сделал на этом целое состояние, учредил сеть магазинов, продающих китайскую пластмассу по сто иен за штуку, благодаря чему сильно поубавилось количество мелких лавочек в торговых кварталах, и теперь к нему постоянно приезжают пожить дети китайских партнёров, старающиеся поступить в японские университеты.

Оба торговца приходят ко мне каждую неделю, но не для того, чтобы учить языки, — это только предлог. Они приходят просто поговорить.

— Ты прямо священник какой-то, — то и дело говорит мне двоеженец. — С тобой все заботы забываешь.

Я не очень понимал, что они получают от меня такого, чего нельзя получить от друга. А потом понял: у них просто нет друзей. Есть партнёры, есть клиенты, есть конкуренты. Есть, наконец, родственники, с которыми их тоже связывают вполне регламентированные отношения. А вот друзей нет. Дружья есть у бизнесменов другого толка — как, например, у моего приятеля, который держит велосипедный магазин недалеко от моего дома.

В его мастерской стоят стулья и скамейки, у него всегда полно народа, пепельница полна окурками разных марок, а старушки, которым он латает шины, кричат на него, чтобы он взял у них побольше за работу: тебе, мол, тоже на что-то жить надо.

Дружья есть и у моего автомеханика, он же торговец антиквариатом, он же местный центр распределения брошенных котят, у которого над мастерской даже нет вывески — все в округе знают, кто он и чем занимается.

У этих двоих как раз нет ни партнёров, ни клиентов, ни конкурентов. Большинство приходящих состоят с ними в страшно запутанных отношениях с бесконечными взаимными услугами, куплями-продажами да одолжениями, в которых без пол-литра не разберёшься. Отношения между ними и завсегдатаями настолько близкие, что со стороны даже начинаешь

думать, что все они родственники.

Оба живут если и не бедно, то довольно скромно, и потому с точки зрения моих учеников они, конечно, торговцы никудышные. Но им не нужны вторые жёны в Таиланде, им не нужны благодарные приживалы из бедной Азии, не нужен им и я — а если и нужен, то совсем в другой функции.

Без моих учеников — двух первых персонажей — не было бы никакого Великого Японского Экономического Благоденствия второй половины прошлого века. Если бы не люди такого толка, наверное, не было бы и пресловутой глобализации. Ну а если бы не двое вторых, я бы, наверное, не стал сейчас жить в Японии.

Жалко, что таких, как вторые, становится меньше с каждым годом. А вот то, что бизнесмены нового толка нуждаются и в тайландских деревнях, и в благодарных приживалах, и в равноправных дружеских разговорах с пареньком из России, что они добирают у иностранцев именно то, что они сами всем своим существованием отрицали и уничтожали в Японии, — ощущение принадлежности к тесной общине нуждающихся друг в друге людей, — вот это забавно.

21. КОГДА ПОЛЕЗНО ДАВАТЬ В ЗУБЫ

Здание было в пять этажей и без единого окна. Каждый этаж до потолка был заставлен картонными коробками с нераспроданными полотенцами, которые свозили сюда со всей Японии. Я — безденежный студент с договором на неделю — и ещё семеро парней на полной ставке с безнадёжностью в глазах ходили по этому полотенечному лабиринту, собирали снова востребованные где-то полотенца и относили их на второй этаж к весёлым тёткам, которые готовили их к отсылке.

Тётки были веселы, потому что были домохозяйками за сорок, все замужем и с уже подросшим потомством, подрабатывали из чисто японской жажды деятельности, тарахтели без умолку, хохотали и — хоть и без особой цели — заигрывали с парнями. Полотенцам, наверное, тоже было неплохо, особенно тем, которым давался новый шанс. Гораздо утрюмее выглядели парни. Три часа утром и ещё четыре после обеда они ходили поодиночке в поисках нужного полотенца. В обеденный перерыв вся компания отправлялась в магазины неподалёку — но почему-то тоже поодиночке — купить готовую еду в коробочке, которая съедалась в полном молчании, после чего каждый углублялся в чтение порнографических журналов, подборка которых стояла на единственной полке комнаты для отдыха. Насколько я смог выяснить, после работы они шли домой — на скудную зарплату особенно не развернёшься — и проводили время, глядя в телевизор.

В первый день в обед я ещё пытался разговорить одного из них, самого молодого, крепко сбитого парня с квадратной челюстью и крашеными волосами, но все ответы были односложными, я довольно быстро отчаялся и тоже взял себе с полки журнал. Минут пятнадцать я разглядывал японские прелести, как вдруг крашенный, который всё это время сидел, будто в раздумьях, резко повернул ко мне голову и спросил с подозрением в глазах:

— А у тебя небось большой?

Я расхохотался, но он и глазом не моргнул. Сразу посерьёзнев, я объяснил, что не так уж, да и не в размере дело. Но подозрение у него в глазах осталось.

Следующие дни я старался особенно не высовываться, но всё же не мог отказать себе в удовольствии пошутить с весёлыми тётками каждый раз, когда относил им очередное полотенце. Крашенный, который, очевидно, был до того у них любимцем, отодвинулся на второй план. На пятый день он не выдержал, остановил меня в коридоре пьяный от ярости, проорал что-то про студентов-выпендрёжников и сказал, что сейчас будет бить мне морду. Затем отвлёк кулак назад, но почему-то так и не ударил. Опустил было кулак, но сразу поднял его снова. И опять опустил. На третий раз я схватил его за обе руки, и он, хотя был уж точно не слабее меня, почему-то сразу обмяк и так и стоял, глядя на меня. Подбежали остальные, нас разняли, и я немедленно подал в отставку со своей высокой должности.

Я много раз проигрывал в голове эту сцену: полутёмный коридор с полотенечными коробками и крашенный парень с обмякшими руками. Когда я схватил его за руки, в глазах его было облегчение.

Сегодня я в очередной раз пошёл на тренировку карате. Мой учитель — семидесятилетний однорукий старик, лысый, грозный боец с совершенно очаровательной улыбкой. Левую руку он потерял в молодости на заводе — на неё свалилось несколько тонн железа, но и после этого он выиграл немало соревнований. Он и сейчас может не только сесть на шпагат, но ещё и положить голову на пол перед собой и заснуть в этом положении. А в шестидесятых, в разгар студенческого движения и буйных настроений в обществе в целом, он был королём весёлых кварталов у реки Ёдо в центре Осаки.

— Сижу, например, пью себе, как вдруг вбегает хозяйка соседнего бара, мол, ихнего бармена пятеро лупят. Пятеро так пятеро. Я иду, укладываю их одного за другим — там же шантрапа одна. Главное — что дальше делать. Дашь им уйти — они ещё народу приведут, а со всеми уже не справишься. Потому и надо сразу сесть с ними и выпить заново как следует, чтоб дурных чувств, знаешь, не оставалось. Вот так вот. Потому меня и поили везде задаром, куда ни пойдёшь.

Тогда, знаешь, все дрались, но лежачих не били. А полицейские даже не глядели — скажут: «Ну, парни, вы тут не очень-то», — и дальше себе пойдут. А потом как начали применять закон о запрете насилия, и пошло: пальцем к кому прикоснёшься — уже тебя в участок тащат. Вот и перестали все драться. Зато теперь уж если до драки дойдёт, никто остановиться не может — разучились. Нож тебе в пузо, и до свиданья.

Учитель качает головой. А я всё вспоминаю то облегчение в глазах крашеного. Он просто не знал, что делать со своей яростью. И, пожалуй, нам обоим было бы легче, если бы он просто дал мне в зубы. Я ведь нарывался.

22. КАК ЕДЯТ ЯПОНЦЫ

Вряд ли на земном шаре есть ещё страна, где человек, проработав с утра и до вечера в какой-нибудь фирме и закончив работу часов в десять вечера, сядет в машину и пойдёт в другой город, куда ему ехать целый час, только для того, чтобы поесть переслащённый вермишелевый суп. При том что ему завтра вставать на ненавистную работу в шесть утра.

Сомневаюсь также, что домохозяйка в какой-нибудь ещё стране на свой день рождения потребует от мужа и всей семьи, чтобы её везли на соседний остров, чтобы перекусить там в простой забегаловке. Да не в одной, а в четырёх, а потом ещё будет сетовать, что удалось поесть только в трёх — в желудке места не хватило.

Японцы просто помешаны на еде, причём едят вовсе не как европейцы — наслаждаясь атмосферой, беседой и — в том числе — качеством пищи. Японцы готовы тянуть удовольствие часами тогда, когда выпивают, но когда они едят, то едят они быстро и жадно, полностью поглощённые вкусом поглощаемого, и мне стоило немалых усилий научиться есть вермишелевый суп рамэн так, как требуют здешние приличия — всасывая вермишель губами с громким и довольно неприличным звуком. Но эта культура еды, да и сами японские блюда, в большинстве своём — нововведения последней сотни лет. Традиционная японская еда, пожалуй, совсем не то, что едят японцы сейчас, да и не то, что пользуется теперь наибольшим успехом в мире.

Суси — нововведение периода Эдо. Рамэн — вермишелевый суп — появился ещё позже, в середине эпохи Мэйдзи, то есть немногим больше сотни лет назад. Да и сам белый рис стали есть в Японии примерно тогда же, а до тех пор ели коричневый — ошелушенный, но не шлифованный. Кстати говоря, в рисовых отрубях содержится львиная доля витаминов, особенно витамина B1, отчего у японцев, переставших есть коричневый рис, в двадцатом веке сильно участились случаи алиментарного полиневрита — во всяком случае, пока не развилась практика витаминных добавок.

Таким образом, японцы, пока не пришло благоденствие эры Эдо, а потом и проклятие

европейской еды, ели нешлифованный рис, добавляя к нему при возможности или какую-нибудь рыбину, или же овощи, сваренные на соевом соусе, — то есть диета была не очень шикарная. Сахара почти не было, мяса — тоже. И были японцы при этом — а быть может, и как раз поэтому — на редкость выносливым народом.

Известен анекдот о том, как приехавшие в Японию европейцы, удивлённые выносливостью рикш, которые возили их коляску с утра до вечера по всему городу и нисколько при этом не устали, спросили у них, что те едят. Те ответили, что едят пару тарелок коричневого риса в день. Европейцы изумились ещё больше и стали убеждать их в том, что если японцы начнут есть мясо, то будут и вовсе непобедимы, поскольку тогда к этой поразительной выносливости прибавится ещё и европейская сила.

Но вышло совсем не так. От мяса японцы сильнее не стали, стали болеть гораздо больше и потеряли свою выносливость. А зря — ведь за много сотен лет кишечник у них, как показали исследования, стал на два метра длиннее, чем у европейца — чтобы как следует переваривать растительную пищу. А тут, выходит, лишние метры оказываются совершенно не у дел.

Существует много рассказов о том, как европейцы привезли туземцам ром и сделали население алкоголиками. Есть много историй о том, как европейцы внедрили капитализм и разрушили общины и привычные связи между людьми. Японская же история последних ста пятидесяти лет знаменита ещё и тем, как китайцы с европейцами да американцами испортили туземцев едой, с каковой в Японии традиционно дело было поставлено плохо — в среднем довольно скудно и не больно-то вкусно. Наверное, поэтому японцы и используют слово «вкус» — адзи — совсем не в том смысле, как на Западе. Вкус для теперешних японцев — понятие не столько качественное, сколько количественное. Пробуя суп, нынешний японец нередко скажет: «Что-то вкуса недостаёт». Обычно это значит, что в супе или мало сахара, или соли, или мясного бульона.

Сам я отказался от вкусной еды года на два. Первое время мне было довольно тяжело, но со временем я привык — хотя смотреть на то, как мои дети поглощают шоколадки и бутерброды с сыром, было настоящей пыткой. Потом я начал замечать, что действительно стал гораздо выносливее и болеть перестал совершенно. А потом... сломался и принялся есть практически всё, что хочется, — разве что кроме мяса, от которого всё-таки успел отвыкнуть.

Стал ли я от этого счастливее? Не знаю. Но здоровее и выносливее точно не стал. И сейчас всё больше думаю, что, быть может, аборигенам видней. Что имеет смысл переломить себя и снова есть то, что предки моих наполовину японских детей ели в течение столетий, даже если это для современного человека и совсем не вкусно. Взять и сказать глобализации (и своим собственным неапонским предкам) твёрдое «нет».

Но уж больно вкусная она вещь, эта глобализация...

23. ВО ВЛАСТИ ДЗЁСИКИ

Представьте, что вы приходите домой и обнаруживаете, что, уходя, забыли запереть дверь. А что, если забрался вор? Что, если он ещё в доме, прячется где-то в шкафу или под кроватью? Чтобы удостовериться, что вора нет, в России вам придётся обыскать весь дом. В Японии всё гораздо проще — вы просто смотрите на пол в прихожей, и если незнакомой обуви нет, можете быть уверены, что воров в доме нет.

Ведь даже самый отъявленный бандит, скорее всего, машинально снимет в прихожей свои ботинки. Как, кстати, снимают ботинки перед прыжком в пропасть японские самоубийцы — очевидно, считая смерть не столько выходом, сколько входом.

Или представьте, что вы въехали на машине в незнакомый переулок — срезать угол — и обнаруживаете, что дорогу вам преграждает стоящая посередине машина с затемнёнными стёклами и разными грозными прибабасами. Водителя на месте нет. В России вы, скорее всего, просто задним ходом выберетесь из переулка и поедете своей дорогой — мало ли что

там за громила вылезет? В Японии вы можете спокойно жать на гудок и быть уверенными, что из какого-нибудь дома, наспех надев туфли, выбежит водитель — может быть, даже и якудза — и, усиленно кланяясь, уберёт машину с дороги.

Почему? Потому, что у любого бандита, как и у каждого обывателя, есть так называемое дзёсики.

В каждой культуре на любой момент её существования найдутся понятия, которые с трудом переводятся на другие языки. Для Индии, к примеру, это каста, для Америки — понятие закона, которое здесь почему-то оказывается сильнее и морали, и религии, а в России это выражения вроде «Ты, мужик, свой или кто?». В Японии одно из понятий такого рода — дзёсики.

Слово «дзёсики» состоит из двух иероглифов: «обыденный» и «знание». И обозначает некое усреднённое обывательское знание о мире, обществе, приличиях и манерах. И именно это понятие и склеивает японцев в единую нацию, нередко оказываясь сильнее любви к деньгам, к статусу и даже к семье.

Например, от взрослого мужчины, живущего в городе, ожидается, что часов в восемь утра он уходит из дома в костюме или рабочем комбинезоне и отправляется на работу. Я знаю немало людей — студентов и других неприкаянных, — которые каждое утро напяливают костюм и идут провести время где придётся, а потом возвращаются к семи-восьми вечера, с усталым видом здороваясь с соседями — мол, поработали как полагается.

Или мой приятель англичанин, который зарабатывает утром и вечером частными уроками и поэтому часто оказывается дома в середине дня.

Он хочет провести время со своими детьми, играющими на улице, но японская жена не позволяет — чтоб соседи не подумали, что он безработный.

Другому приятелю, японцу, когда тот однажды зашёл ко мне в гости после работы, я подарил настольную лампу в японском стиле, которую мы с детьми с большим тщанием сделали ему на день рождения. Лампа ему очень понравилась, но он напрочь отказался брать её в этот день, сказав, что приедет специально на машине. Я, недоумевая, спросил почему. Тот ответил, что стесняется взглядов людей на улице — не поймут, почему служащий после работы везёт домой лампу.

Люди отказываются от продвижения по службе, от взяток, и не из моральных соображений, а потому, что боятся вездесущего взгляда дзёсики.

Таким образом выходит, что все поступки должны укладываться во всё понятные рамки, которые, надо сказать, довольно узки. Всякий отход от норм должен быть немедленно объяснён.

Если же его почему-либо объяснить не получается, то его приходится прятать. Отчего, наверное, в Японии один процент населения составляют хикикомори — молодые люди, которые живут на деньги родителей, отказываясь выходить из дома. Выбирая вместо узких рамок так называемую острую социальную самоизоляцию.

Когда нормам придаётся столь большое значение, почти все контакты между людьми происходят как бы через посредство норм, словно в любом диалоге участвует ещё одно третье лицо — лицо приличий, безликое лицо общества, налагающее цензурные ограничения на каждое слово. С одной стороны, это удручает, потому что не часто выходит поговорить с человеком по душам. А с другой — именно благодаря этим вездесущим нормам в Японии так мало агрессии, ведь японские нормы говорят очень мало о ссорах.

На перекрёстке недалеко от моего дома живёт японец лет пятидесяти. Очевидно, его уволили с работы, семьи у него или не было, или он её потерял, и он стоит с утра до вечера перед домом, с ненавистью провожая взглядом прохожих, не здороваясь ни с кем и периодически ненадолго уходя в дом. Я долго не понимал, зачем он стоит на улице, почему не закроется от мира в четырёх стенах, если всё вокруг так ему ненавистно. Ещё я не понимал, отчего так часто на нашу улицу приезжает полиция и штрафует водителей, которые не там припарковались. А потом понял, что это он вызывает полицейских и наслаждается

тем, что одним звонком отбирает у людей дневной заработок. Что это — его месть миру.

Но месть по-японски: не напрямик, а через посредника.

24. КТО ОТВЕТИТ ЗА ОШИБКУ

Если шею себе сломаешь, я не виноват, — заявляет мой японский сосед лет восьми от роду, сидящий с приятелями на бордюре, чтоб штаны не испачкать. Я же, придерживая одноколёсный велосипед, стою на скамейке и прикидываю, есть ли у меня шансы, оседлав его, спрыгнуть на землю, как раз таки не сломав при этом шею.

— Как это «не виноват»? — сперва несколько оторопев, грозно спрашиваю я. — Как раз ты виноват и будешь!

— Эй! Так нечестно! — кричит тот, вскакивая с бордюра и размахивая руками. — Почему это я? Я тебя предупредил. Сам будешь за себя отвечать, понял? Сам! Вон, все тут слышали!

Я ухмыляюсь. Он наконец понимает, что я просто подсмеиваюсь над ним, и снова усаживается, очевидно, решив с чистой совестью поглядеть на мою бесславную кончину. А я, присев на спинку скамейки, достаю предсмертную сигарету и начинаю думать: при чём тут вообще ответственность?

В прошлом, если ребёнок сверзился с дерева, его просто жалели. Если ребёнок ломал ногу, учась кататься на родительском велосипеде, — ведь детских не было и все тренировались на взрослых, просовывая одну ногу в дыру в раме, что называется, треугольничком, — все говорили, что бедняге просто не повезло, походит в гипсе месяц, потом научится. И если ребёнок, поскользнувшись в магазине, падал и набивал себе шишку об полку с товаром, ему просто покупали с той же полки бобовую лепёшку и вели домой.

Сейчас первый вопрос всегда: кто виноват? Второй: кто понесёт ответственность в её материальном выражении? Соседский ребёнок залез на твою припаркованную перед домом машину, свалился и поранил голову. В тот же день к тебе приходит разозлённая мамаша, требуя, как минимум заплатить за больницу: «У вас там колесо какое-то сзади приделано. Это что, так надо?» Чужой ребёнок выбил твоему зуб сиденьем от качелей? Пускай его родители платят стоматологу, да ещё тортики каждую неделю приносят — для утешения. Особо продвинутые родители а-ля monster parents даже винят кондитерские лавки, что те слишком красиво расставляют сладости: «Да тут любому ребёнку своровать захочется!» Проблема ответственности стала настолько острой, что в парках спиливают ветки деревьев, чтобы у детей не было соблазна залезть, берега рек бетонируют так, чтобы до воды нельзя было добраться, а в школе не разрешают детям играть на стадионе после уроков и на выходных: ещё случится чего, «кто тогда отвечать будет?»

Наверное, происшествий и правда стало меньше. Но платить за это приходится немало.

Двадцатилетние девицы не умеют и суп сварить. Парни не умеют вбить гвоздь. А дети вроде моего соседа живут и разговаривают так, словно им уже на пенсию пора, разводя рацеи на тему ответственности и совершенно не мысля куда-либо забраться или залезть — из боязни упасть и ободраться. Предстоящая жизнь видится как сумма рискованных ситуаций, которых необходимо избежать во что бы то ни стало, всё планируется до последней мелочи, и желательно, чтобы каждый шаг попадал в уже проторённую колею — ещё оступишься на обочине.

При этом теряется масса удовольствий: главные цветы-то как раз на обочине и растут.

Недавно мы сидели и выпивали с приятелем. Ему уже под сорок, родился он в глухой деревушке на севере страны и полностью ослеп годам к тринадцати.

— Разозлил меня кто-то, не помню даже чем, а я тогда бешеный был: в такой деревеньке полуслепым расти, знаешь, удовольствия мало. А у нас в каждом классе печка стояла — зимой холод-то страшный, не то что у вас тут, — а на печке чайник, так я на перемене взял этот чайник и как ополосну всех кипятком, девок тоже. Меня к директору, отца вызвали — он деревенским почтальоном был, потому сразу и пришёл. Так он взял

палку и давай меня лупить, минут десять лупил, не меньше, я рыдал так сильно, что почти дышать уже не мог. Но он у меня настоящий мастер был: всегда жуть как больно, но кости потом все целые, ночь отоспался и топай по снегу опять в школу.

Мой приятель стрельнул у меня сигарету и с трудом зажёл её стоиеновой зажигалкой новой модели: кнопки теперь в них делают жёсткие, чтобы дети не могли нажать.

— А когда я совсем ослеп, он меня в горы стал водить, вместе по водопадам лазили. Падал? Конечно, падал. Но он меня научил: расслабься, говорит, и плыви себе вниз, рано или поздно ногами до дна достанешь. В такие места меня водил, до сих пор удивляюсь, что живым остался. Научил и на лыжах кататься, и в кружок дзюдо записал — в двадцать лет чёрный пояс дали. А нынешние слепые и дорогу едва переходят, не то что по горам ходить, вот и остаются на всю жизнь ханнинмаэ — людьми наполовину...

Я смотрел, как он курит, то и дело проводя пальцем вдоль сигареты, чтобы по жару понять, докуда докурил. Широкоплечий и уверенный в себе, раз в неделю он бегают километров двадцать вдоль реки с очередной зрячей девицей — от них всегда отбоя нет. А когда он был младенцем, дед с бабкой по отцовской линии винили мать в том, что ребёнок родился с изъяном: «В нашем роду слепых никогда не было, это всё кэгарэ — твоя кровь грязная. Иди и выбрось его в снег, достал уже своим плачем». Мать пеленала его и ходила часами по снегу, дожидаясь, пока те заснут. А потом тихонько укладывала его спать.

Не знаю даже, что лучше: бывшая боязнь скверны или нынешняя идея индивидуальной ответственности за всё и вся. По-моему, обе бьют мимо цели, ведь люди — и слепые, и зрячие, и умные, и глупые — штука в принципе не больно складная. И очень многое — как плохое, так и хорошее — случается не почему-то, а просто так.

Так или иначе, я таки прыгнул с той скамейки. Приземлился довольно ловко, но равновесие удержать всё же не смог, свалился и здорово расцарапал голень. Соседский мальчишка, как ни странно, не стал вопить, что меня предупреждал, а явно впечатлился и пошёл выпрашивать у родителей, чтобы ему тоже купили такой же одноколёсный велосипед, как у меня. А я теперь, забираясь на свой велосипед, поглядываю на разбитую голень и думаю об одном праве, которое нынешнее правовое общество подзабыло, — праве на ошибку.

25. ВЛАСТЬ СЛУШАЮЩИХ

Дело было в городе Кобэ вскоре после землетрясения, которое оставило весь город в развалинах и унесло шесть с половиной тысяч жизней. Я воспользовался этим предлогом, чтобы отпроситься из довольно скверной школы японского языка, где тогда учился, и поехать туда волонтером.

Нас собралось человек двадцать в полуразрушенном училище, вокруг которого город Кобэ лежал крышами на земле, а в спортивном зале — тысяча человек беженцев, посевших за один день, потерявших детей и родителей. Удивительно, насколько размеренной была жизнь этих людей, как аккуратно был разделён спортивный зал на квадратики для каждой семьи, и как много усилий прилагал каждый, чтобы не помешать окружающим. Но ещё больше меня поразило то, как организовала себя наша группа волонтеров.

Люди собрались самые разные — студенты, рабочие, служащие. Был один нищий, человек крепкий и бывалый, который приехал под видом волонтера кушать халявную пайку и работал за троих. Был учитель того же училища, умный, начитанный. Был пожарный, весёлый парень, умелый и уверенный в себе. Был толстяк торговец, неунывающий, хоть и потерял во время землетрясения свой дом, лавку и всё состояние. Был даже один монах. У нас была представлена вся Япония, причём всё это были люди предприимчивые и харизматичные. Но лидером у нас стал человек, которого в России бы и не заметили.

Это был худенький старичок, который работал служащим в маленькой фирме какого-то захолустного городка. Вечерами, когда мы обсуждали планы на завтрашний день — откуда

провести воду, как распределять гуманитарную помощь и тому подобное, — он молча сидел в своём углу, внимательно слушая, что говорит каждый. А потом, когда все уже сказали своё, он произносил две-три фразы себе под нос, и все немедленно с ним соглашались. И не потому, что у него было лучшее решение проблемы, — просто он мог дожидаться момента, когда большинство приходило к единой точке зрения, а меньшинства начинали сомневаться в своей правоте, и найти именно те слова, в которые укладывалось всё то, что сказали другие. Он мог всегда совершенно точно уловить голос народа, и именно это достоинство, как оказалось, и делает человека в Японии лидером.

Уже позднее я узнал, что эта система решения проблем уходит корнями в традицию деревенских собраний — ёриаи. В них участвовали все мужчины деревни, богатые и бедные, включая даже деревенских самураев, причём говорили здесь на равных. Все собирались в большой комнате деревенского храма или просто усаживались вокруг костров на земле — и проводили на ёриаи по несколько дней, ели, когда хотели, спали прямо там, пока не выговорится каждый, кому есть что сказать.

В основном вспоминали схожие проблемы, которые приходилось решать раньше, причём вспоминали не столько диалогом, сколько бесконечными, связанными единой темой монологами. В конце концов один из старцев принимал решение — одновременно и общее, и своё: общее в том смысле, что оно выражало мнение всего собрания, а своё потому, что именно он брал на себя ответственность за последствия. Лидером всегда становился не самый говорливый, а, наоборот, самый молчаливый. Для человека европейской культуры, где ценится как раз умелое ораторство, этот выбор далеко не очевиден.

Именно так до сих пор работает японская политика на уровне малых демократических социумов — на основании монологов, прецедентов, и людей, умеющих услышать голос народа. В большой политике всё происходит несколько иначе. Решения всё равно принимаются на основе прецедентов, но с одним важным отличием.

В то время как в прошлые времена все прецеденты были историей самой деревни, — коллективно хранимой и коллективно же создаваемой, — после революции Мэйдзи, когда деревня стала частью чего-то большего, а потом и после войны, когда уже сама Япония стала частью чего-то большего, прецеденты, а вместе с ними и власть, ушли за пределы социума.

Сейчас японские политики объясняют свои решения словами западных лидеров, профессоры начинают и кончают работы цитатами из западных же авторов, и даже споры между правительством и интеллигенцией сводятся к тому, на какой западный прецедент ориентироваться.

В результате выходит, что лидеру уже не надо уловить голос народа. Он всё ещё слушает, но уже не слова своих собратьев. Он слушает только слова извне.

26. ВЕСНА

Первый раз в этом году вышел на улицу босиком. Асфальт уже тёплый, но ещё не раскалённый, как летом. С непривычки подошвы болят, хочется скорей дойти до парка, где уже расцвела слива, где трава и песок, где мои и чужие дети играют в какую-то немыслимо сложную игру с английским названием. На полпути со мной вдруг заговаривает незнакомая старуха за семьдесят, маленькая и сморщенная, но задорная, как девчонка.

— Смотри-ка, опять слива расцвела. Каждый раз прохожу здесь в марте и думаю: надо же, дожила ещё раз увидеть. Толку от меня, правда, никакого — ни детей, ни внуков. У меня же все женские дела вырезали, когда мне ещё пятнадцати не было. Даже не знаю, что с мужчиной делать... Может, покажешь?

Она хихикает, начинает почему-то рассказывать о войне, о том, как работала на заводе неподалёку, который тогда строил что-то для самолётов — бомбить тех, кого тогда называли «чертями и скотами из Америки и Англии». Старуха говорит, что без женских дел внутри была крепче иного мужика. Что потом, уже после войны, её взяли актрисой в Такарадзука — театр, где все роли, включая мужские, играют только женщины. Старуха называет имена,

наверное, гремевшие по всей Японии лет пятьдесят назад, но я не знаю ни одного. Потом называет ещё одно, которое даже мне смутно знакомо, со значением заглядывает мне в глаза, трогает меня за рукав и говорит: «А вот что женщина с женщиной делает — знаю!» Она снова хихикает, потом начинает хвастаться о том, сколько скопила да какой дом себе отгрохала, и мне становится скучно, я говорю, что мне пора. Старуха отламывает ветку сливы, жадно нюхает цветы, осторожно засовывает ветку себе в сумочку — поставить в специальной нише, под свиток с картиной тушью на стене, в гостиной её японского дома — наверняка по японским меркам огромного, дома, где она живёт одна, — и идёт дальше.

Странная женщина. Как и весна в Японии — тоже странная. Резко теплеет, из буйной земли всё растёт с сумасшедшей скоростью, и в воздухе витает какое-то беспокойство, словно непоколебимые устои японского общества потеряли часть своей данности.

Я прихожу в парк, сажусь на скамейку, закуриваю. Из дома на той стороне улицы выходит мой приятель, большой начальник в страховой фирме, человек для японца просто громадный, с бритой головой и квадратными плечами, садится рядом, не здороваясь — в японском обществе с его излишней вежливостью это знак настоящей дружбы. Я молча показываю ему правую руку — содрал кожу, катаясь на одноколёсном велосипеде, он прищёлкивает языком, качает головой. Потом начинает рассказывать про свои университетские годы — всю молодость он играл в американский футбол, да и в фирму попал по спортивной рекомендации.

— Раз вечером сидим все после тренировки, вдруг один из старших по клубу говорит — ему, видишь ли, мячи будет бросать удобнее, если они полегче будут, грамм на пять. От игры, понимаешь, мячи понемногу стираются, вот и становятся малость легче. А тут как назло все мячи новенькие, а с утра соревнования. Шкуркой тереть — судьям сразу всё ясно будет. Вот мы и сидели часов с семи вечера до ночи — первокурсники зелёные, только в университет поступили — да голыми руками мячи тёрли. Руки, понятное дело, стёрли до крови. Но каждый мяч стал ровно на пять грамм меньше.

Приятель смотрит на свои огромные руки, вспоминая. Потом вздыхает.

— Вчера опять вернулся домой в полпервого. В марте и апреле одни попойки — этот на пенсию выходит, того в другой филиал переводят, ну а потом и с новобранцами тоже... Этому-то нас в клубе и учили. Заставляли пить так, что потом весь желудок наизнанку — один раз домой вернулся, блевал весь вечер, а наутро смотрю — в железной раковине дыра от желудочного сока, он же как соляная кислота. Бросить? Бросить всегда можно было. Но почти никто не уходил. Ушёл — считай, сдался. А те, кто остался, скажут про тебя: «А, этот? Да у него кондзё не хватило».

Слово кондзё состоит из двух иероглифов — «корень» и «характер» — и означает эдакий нестигаемый внутренний стержень настоящего мужика. Именно на кондзё строится большинство так называемых физкультурных фирм — фирм с жёсткой дисциплиной и иерархией по старшинству, как в спортивном клубе — банки, торговые фирмы, страховые компании. Кондзё работает как пробка, которой закрывают любую вонь. Тебе что-то не нравится? Да у тебя просто кондзё нет! До тебя все терпели, вот и ты вытерпишь. Если сможешь...

К нам подсаживается «чёрт и скот» — мой приятель англичанин. В костюме да с галстуком — по выходным он подрабатывает священником на японских свадьбах, хотя священником не является, да и в бога не верит. Сейчас у него время занятое, весной начинается учебный год, да и финансовый тоже, и служащих здесь перебрасывают в другие филиалы — чтобы не налаживали связи и не брали взятки, — причём нередко на другой конец Японии. Поэтому народ склонен устраивать свадьбы именно в марте — чтобы хоть свадьбу сыграть на старом рабочем месте, с привычными людьми.

— Прихожу, как всегда, за час до. Распорядитель меня встречает, волосы чем-то намазаны, руки в боки, командует девицами из церковного хора, а как меня увидит, сразу лебезить: «Здравствуйте, Сэнсэй! Как доехали? Потеплело, хе-хе...» Кланяется всё, извиняется, что мне гонорар опять снизили — «время сейчас такое, рецессия, мдас» — и что

всего одна свадьба, а мне до их отеля с часовней переть из дома час. А потом так голову немного назад откинет и на часы смотрит, а часы — «Ролекс», золотой, тысяч двадцать уж точно потянет, — и говорит: «Давайте уже крест заносить». Перед моей свадьбой была ещё одна, но без венчания, пришлось кому-то крест со стены снимать. А мне надо назад его из кладовки притащить и на стену повесить. Крест в кладовку, а? Уже который раз, и в бога я толком не верю, а всё равно дрожь пробирает.

Сказать на это нечего, и мы со страховым агентом молчим. А англичанин встаёт, потягивается.

— Выпить, что ли?

Я встаю, подхожу к группе играющих детей. Здравуюсь с двумя приятелями моего сына, которые почти не играли с нами весь год — готовились к поступлению в школу для богатых. Оба растолстели, двигаются как-то неуверенно, будто подзабыли, что они ещё дети. Лысоватый служащий серьёзного вида в очках, отец одного из них, ссутулившись, стоит посреди парка, словно неуверенно вдыхая запахи весны, и вдруг вытаскивает из кармана маленького бумажного змея в форме бабочки, разматывает нитку и пускает его по ветру. Ветра не хватает, то и дело ему приходится тянуть короткую нитку на себя, змей неуклюже подпрыгивает в воздухе и снова опускается. И вдруг взмывает вверх гордо встаёт на ветру — бабочка, замершая полёте. Служащий оборачивается, ища глазами своего ребёнка, и я вижу, что он улыбается — как-то совсем по-детски.

27. ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Качалась кровать, качалась картина над кроватью — на которой был изображён вовсе не корабль в бурю, а скверно намалёванный жёлтый цветочек, — а прямо надо мной остервенело колотила в потолок деревянная лампа, обвёрнутая японской бумагой. Из соседней комнаты слышался звук разбивающейся посуды, ещё какой-то грохот да женские крики. Я не очень понимал, что происходит, — дело было непривычное, я только что проснулся, да к тому же уже неделю лежал с температурой, и голова толком не работала. Но понял, что с кровати мне не двинуться — неизвестно, куда качнёт в следующий момент, и балансировать даже в горизонтальном положении было непросто. Секунд через десять всё утихло. Я натянул штаны и вышел из спальни в гостиную.

На полу аккуратным слоем мелких черепков лежала коллекция европейского фарфора, над ней пластом — шкафчики, на которых она стояла двадцать секунд назад, а сверху — тоже разбитый огромный телевизор, гордость учительницы младших классов, у которой я тогда жил. Посреди всего этого разрушения стояла толстая, маленькая и незамужняя хозяйка квартиры в розовой пижаме да с рассечённым виском и с чисто женским мастерством описывала происшедшее самыми красочными эпитетами японского языка. А в проёме двери в другую спальню сидела на корточках смертельно бледная девица из Англии, которую хозяйка, большая любительница не только европейского фарфора, но и вообще всего иностранного, пустила на время к себе жить, как и меня.

Так я провёл так называемое Великое землетрясение в Осака, Кобэ и Авадзи 17 января 1995 года, четыре месяца после моего приезда в Японию. За те двадцать секунд погибло шесть с половиной тысяч человек, некоторые из них — в городе Киото, где я оказался в это утро, а большинство — в городе Кобэ в пятидесяти километрах оттуда. Более ста тысяч семей остались бездомными. Свой дом и жену потерял и мой теперешний отчим, который жил совсем недалеко от эпицентра, — он ещё спал на втором этаже своего старенького дома в Кобэ, в то время как его жена уже готовила завтрак в кухне на первом. Накрывшись футоном, он выдержал лавину черепицы, но, когда всё кончилось, оказалось, что первого этажа уже нет.

Девица из Англии дня через два чуть ли не первым рейсом улетела домой, заявив, что жить в такой стране не собирается. А я волонтёром отправился в Кобэ.

Практически весь город был разрушен, дома, растопырив балки кругом, лежали

крышами на земле, перемежаясь обвалившимися эстакадами. Транспорт был парализован, и мне под хруст стекла под подошвами пришлось идти пешком много километров по пустым дорогам, перепрыгивая огромные трещины. Почти каждый час город трясли землетрясения послабее, к которым все скоро привыкли настолько, что пешеходы замирали лишь на секунду, а разговор продолжался как ни в чём не бывало. Спортивные залы каждой ещё стоявшей школы были забиты беженцами, потерявшими дома, всё своё имущество, а многие — своих близких.

Я провёл месяц, работая в одной из таких школ, вместе с другими волонтерами раздавая гуманитарную помощь, пытаясь как-то наладить водопровод, играя с детьми и слушая бесконечные истории людей, которые потеряли всё, кроме жизни. До сих пор помню мать и сына, которые посидели за один день и с увлечением рассказывали о том, как остались в живых. О муже и отце они за всё время нашего знакомства не сказали ни слова.

Не думаю, что я был так уж полезен. Но сам получил от того опыта немало, хоть и толком не знаю, как полученное назвать. Но вот что я никак не могу решить, так это в чём разница между мной и той девицей из Англии, которая до землетрясения с большим удовольствием ходила по храмам, одевалась в кимоно, занималась икебаной и чайной церемонией, а потом, в общем-то вполне разумно, смылась куда подальше. Был ли мой выбор моральным, стилистическим, каким?

Чёрт его знает. Но я остался здесь, с Японией и японцами, которые живут год за годом, незаметно играя в своеобразную японскую рулетку: остался жив и довольно обсуждаешь подробности с окружающими — умер кто-то из родных, и всё гораздо хуже, а умер сам — и на всех твоих проблемах стоит одна большая точка.

Два дня спустя после землетрясения 2011 года я вышел в лавку неподалёку, купить ячменя. И вдруг понял, что люди на улице смотрят друг на друга совершенно иначе. Что прохожие глазами ведут немой разговор, исполненный одновременно и грусти, и некоторого удовольствия: «Жив?» — «Жив». — «И я тоже».

Жизнь идёт дальше. Без тех, кого уже нет в живых. Без тех, кто уехал.

Япония переживает любое несчастье. Как она пережила землетрясение 1923 года, когда пропало без вести более ста тысяч человек, как пережила навязанную простому народу бессмысленную войну, на которую не хотелось идти никому, как пережила бомбардировки Хиросимы и Нагасаки с 280 тысячами убитых.

«Не заслужили мы такого, — сказал мне с усмешкой старик, протягивая мне мой кулёк с ячменём. — Ведь в этот раз мы даже ни с кем не воевали...»

28. СТРАНА ПОЛУРАСПАДА

Я живу в семистах километрах от наиболее пострадавших в 2011 году от землетрясения, цунами и радиации районов Японии. Казалось бы, я мог спокойно наблюдать за происходящим издалека. Но сначала у нас дома жили беженцы, потом жена поехала волонтером в префектуру Фукусима, затем ненадолго туда же поехал я сам. Очень быстро стало понятно, что катастрофа такого масштаба затронет в той или иной мере каждого.

Стало также понятно, что японская система решения проблем не работает ни на уровне ТЕРСО — компании, управляющей АЭС «Фукусима», ни на уровне правительства. Сразу после землетрясения и марта США предложили Японии помощь с охлаждением реакторов, но предложение осталось без ответа. Как выяснилось потом, председатель правления ТЕРСО Цунэхиса Кацумата в этот момент отсутствовал, и в компании просто не нашлось никого, кто решился бы взять на себя ответственность за принятие столь важного решения — речь ведь шла о том, чтобы навсегда вывести дорогостоящие реакторы из строя. Председатель в тот день был в Китае, куда на деньги компании пригласил прокатиться топ-менеджеров из медиабизнеса.

Вернувшись, господин Кацумата тоже действовал не слишком оперативно, поскольку любое решение в Японии принимается, во-первых, коллективно, с опросом

заинтересованных лиц, особенно в высших инстанциях, а во-вторых, на основании прецедентов. На этот раз прецедента не было, а обмен мнениями занял слишком много времени, отчего меры следовали половинчатые и запоздалые. И в этом суть современной японской системы управления — она работает совершенно так же, как столетиями работала японская деревня, где не было сильных авторитарных личностей, принимавших решение единолично и сразу. Всё решалось на основании долгих разговоров всех жителей и обсуждения мер, помогавших в подобных случаях в прошлом. На уровне деревни такая система функционировала вполне достойно. На уровне страны или крупной компании она работает несколько хуже.

Одновременно с городами и электростанциями пошатнулся очень важный для большинства японцев миф — миф об успешном продвинутом государстве, одним из главных атрибутов которого была ядерная энергетика. Выяснилось, что жителям бедных деревень, где возводили АЭС, платились довольно высокие (нередко по полмиллиона долларов) компенсации. При этом многие станции вставали возле так называемых хисабэцу бураку — деревень японских неприкасаемых, которых, несмотря на новые демократические законы, всё ещё воспринимают как людей второго сорта. Причём как раз они часто и шли работать на АЭС.

Ещё один удар пришёлся по вере в эффективность правительства и честность корпораций. Жители Токио в апреле в третий раз проголосовали на губернаторских выборах за господина Синтаро Исихару. Это политик, завоевавший популярность заявлениями о том, что сейчас главная особенность японцев — алчность. И что цунами — кара господня. Зато Исихара считает героями тех японских офицеров, которые несут ответственность за участие Японии во Второй мировой войне. Также, с его точки зрения, женщины, которые не могут рожать, — обуза для общества. А ещё он заявляет, что хватит уже впускать иммигрантов из Китая и Кореи — от них вся преступность. Губернаторский пост много полномочий не даёт, но характерен выбор японцев. За эти годы Исихара смог показать себя человеком, готовым стоять на своём до последнего, хотя практически все его реформы тормозятся более либерально настроенным правительством.

Видимо, Исихара популярен потому, что людям осточертела бесхребетность японской политики. Токийцам надоело, что все в правительстве, да и в компаниях типа ТЕРСО, работают с оглядкой на прошлое и на верхушку власти. Людям хочется лидера, который может пренебречь потраченными на атомные реакторы миллиардами, не задумываясь о последствиях, который может принять решение сам, а уж какое — не так и важно. И реакционер Исихара на это вполне способен.

С одной японкой из тех, кто проголосовал против него, мне довелось прожить под одной крышей неделю. В то время люди с востока, желая переждать период повышенной радиации, ещё искали приюта на западе страны, и неделю в моём доме в Осаке жили беженцы из Токио — мать с двухлетним ребёнком. В Токио было объявлено, что из-за радиации воду из-под крана не следует использовать для детей меньше года, а двухлетним уже вроде бы и можно, но её ребёнок родился довольно слабым, и родители, естественно, беспокоились. При этом из магазинов минеральная вода в бутылках пропала, а из яслей увезли почти всех детей — тех, у кого были родственники в не тронутых катастрофой регионах. Но этой семье, кроме как к нам, уехать было некуда. Родители женщины живут в городке недалеко от АЭС, и после аварии их переместили во временное убежище. Они — крестьяне, и им было сказано, что на их земле нельзя будет ничего сажать в течение как минимум тридцати лет. То есть последние годы своей жизни — если им удастся вернуться в родные места — они проведут, глядя, как их земля, принадлежавшая семье с незапамятных времён, зарастает сорняками. Что же касается родственников мужа, то они жили в Иватэ, и их жилища больше не существуют.

Уложив ребёнка, эта женщина приходила к нам с женой на кухню, мы сидели за пивом домашнего приготовления и разговаривали. И пришли к выводу, что Японии надо меняться. Что необходимы политические и культурные возможности для принятия более жёстких, но

оперативных решений. Но если нынешняя модель управления страной и компаниями, которая видна в поступках (или скорее отсутствии таковых) председателя правления ТЕРСО, уступит место авторитарной модели, проступающей в высказываниях губернатора Токио, то Япония рискует превратиться в националистическое государство, каким она была перед Второй мировой.

29. ЯПОНСКАЯ РОДИНА

Во многих странах восхищаются реакцией японцев на трагедию — и покорностью, с которой люди принимают горе, и готовностью принести себя в жертву ради общего блага, и практически полным отсутствием беспорядков и преступлений. Известно, что в районах, где почти совсем не было еды, где ничего не работало, люди тем не менее не брали даже продуктов из полуразрушенных магазинов. Пример японцев кажется особенно поучительным для России, где всегда найдётся немало народа, готового нажиться на чужой трагедии. Как считается, главная разница между русскими и японцами — наличие у вторых чести и патриотизма, стоящих на крепком фундаменте какой-то совершенно иной родины-матери.

Русскую родину-мать я хорошо помню — видел её в особенно длинных очередях. Это была чаще всего дама за шестьдесят, обычно весьма щедрых пропорций и с потрёпанным блокнотом, в котором она писала фамилии каждого стоящего. Кроме того, она громовым голосом взывала к совести шкафов, норовящих пролезть вне очереди. Без неё было не обойтись — в очереди каждый был за себя или, скорее, за группу своих: родственников и друзей, которые для советского человека и составляли общество и ради которых человек, будь то милиционер, чиновник или вор, по большей части и жил, — мне сложно судить, так ли это сейчас. Интеллигенты, пытавшиеся отстоять свои права, неизменно получали в морду.

Японская родина-мать — штука другого толка. Это — глаза вокруг тебя. Глаза людей в транспорте, глаза соседей, глаза коллег. Ты всегда ответствен за всё, что ты делаешь, и каждый твой поступок будет проанализирован и оценён. В былые времена это называлось сэкэнтэй — «твое тело в миру»; иными словами, то, как тебя видят другие. Последним оплотом сэкэнтэй в городах были торговые кварталы с их маленькими лавками, где люди перемыв друг другу косточки и приводили общество и всех его членов к общему знаменателю. Сейчас, когда люди в городах живут всё более обособленно, а масштаб общества несоизмеримо вырос, примерно то же самое достигается понятием дзёсики — усреднённым обывательским знанием о мире, обществе, приличиях и манерах, которое вырабатывается более или менее коллективно в СМИ, в органах самоуправления (там, где таковые ещё остались) и в интернете, которым уже пользуется примерно восемьдесят процентов населения.

Именно через интернет насаждается так называемое дзисюку — добровольное самоограничение, отказ от вольностей и демонстрация скромности перед лицом национальной трагедии. Отменяются пикники под сакурой, отменяется реклама на телевидении (потери от снятой рекламы, по некоторым оценкам, достигли миллиардов иен), отменяются всевозможные увеселительные мероприятия, туристические поездки и свадьбы. Каждое несерьёзное высказывание какого-нибудь деятеля искусства в «Твиттере» — например, что сходил прогуляться, — немедленно вызывает бурю негодования. Экономисты называют дзисюку «четвёртой катастрофой» после землетрясения, цунами и аварии на АЭС, а представители индустрии развлечений сетуют на то, что «в Японии нет нужды в деспотическом режиме — граждане сами лишают друг друга свободы слова».

Наличие усреднённого мировоззрения становится фундаментом, на котором, как кажется самим японцам, и стоит их демократия. Оно работает вместо привычных деревенских собраний, вместо обсуждений прецедентов — оно заменяет собой глас народа, оставляя при этом каждого индивидуума без голоса. И в этом смысле японская демократия абсолютна — народ полностью подминает под себя самого себя. Это движение к полной

унификации всего и вся даёт хороший результат. В регионах, не пострадавших от стихии, чувствуется необычный ажиотаж, и даже люди, которые вроде бы не отличаются особенной отзывчивостью, без конца обсуждают трагедию, собирают пожертвования и оповещают о своих стараниях всех и каждого. Многие разговоры, особенно среди женщин среднего класса, звучат как состязания: кто сделал для пострадавших больше.

Но та же самая глубинная нацеленность на единство нещадно давит все проявления инаковости. Например, оказывается, что местные дети издеваются над детьми беженцев из Фукусимы, дразнят их: иди отсюда, ещё радиацией заразишь. Некоторые гостиницы отказывают беженцам в приюте, боясь, что радиация перекинется с них на других гостей — или просто боясь слухов в округе. Администрация других гостиниц запрашивает у муниципалитетов, не опасно ли принять у себя того или иного клиента. Кто-то, поняв по номеру на машине, что водитель из Фукусимы, тайком выцарапывает на двери надпись «Катись отсюда!» Пока что это всего лишь отдельные случаи. Но для жителей Фукусимы они предвещают тяжёлое будущее.

Неприятие беженцев — обратная сторона той же монеты. Японская сплочённость, эмпатия и самоограничение стоят вовсе не на фундаменте чести или патриотизма. Люди сострадают просто потому, что сострадают все вокруг них. Потому что сейчас сострадание — абстрактный общий знаменатель. Они ещё не видят беженцев, те ещё не переехали в их города и сёла, где муниципалитеты будут выделять им особые деньги на проживание и хлопотать, чтобы их первыми взяли на работу — в обход местных, среди которых и так безработица зашкаливает. Они далеко ещё не стали неудобными чужаками.

Стоит ситуации сдвинуться на одно деление, и тот же общий знаменатель обратится против страдальцев, как во время Великого землетрясения Канто 1923 года, когда токийцы ополчились против корейцев — ходили слухи, что те отравляют воду в колодцах и поджигают уцелевшие дома. Погибло, по разным подсчётам, от трёхсот (мнение правительства Японии) до почти семи тысяч человек (результат расследования, проведённого представителем Временного правительства Кореи, тогда располагавшегося в Шанхае), причём под горячую руку убивали даже японцев из других областей страны, которые говорили на диалекте, по ошибке принимая их за корейцев. Хотя, конечно, были одиночки, которые вставали на пути погромной толпы. Которые перед сворой головорезов выпивали бутылку воды из отравленного колодца и кричали: «Через мой труп!» И это тоже были японцы.

Каждая родина-мать сплачивает людей по-разному. Самая грубая — общим противником. Самая умелая — едиными законами для всех слоёв общества. Русская (насколько я её помню) — выдавшим виды блокнотом да призывом к совести. А японская — дружным подавлением инаковости. Агрессией большинства против меньшинства.

30. ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Город Минамисома, что в двадцати пяти километрах к северу от АЭС «Фукусима», оказался вне зоны отчуждения, но и вне зоны безопасности — это так называемая зона самостоятельной эвакуации, где жители могут оставаться на свой страх и риск. Вслед за женой, проводшей здесь неделю волонтером, я приехал сюда через полтора месяца после катастрофы подвезти продукты и одежду беднейшим инвалидам, а заодно понять, что ищут в пострадавших регионах сто девяносто тысяч японцев, которые решили провести золотую неделю весенних праздников, разгребая обломки и раздавая гуманитарную помощь. В самой префектуре Фукусима, впрочем, добровольцев меньше всего.

— До пояса в тридцать километров волонтеры почти не доезжают, — говорит мне японец лет шестидесяти с лишним. Он выглядит так, словно не мылся много дней: очевидно, проработал здесь волонтером уже довольно долго. Из окна кафе, владелец которого одним из первых решил вернуться в город, виднеются поля в двадцати километрах от АЭС, на них ещё лет тридцать нельзя будет выращивать рис. Где-то за холмом — участок земли в километр

шириной и сотни километров длиной, покрытый балками домов, искореженными машинами и рыболовными судами. А ещё дальше — море, откуда пришла волна.

— Похоже на фотографии Токио после бомбёжек, — говорю я.

— А война в Японии никогда не кончалась, нам и цунами никакого не надо. Где ещё в мире мужчины приходят домой с работы только ночью, а? В какой ещё стране у людей друзей нет? И почему именно у нас появилось слово карооси — смерть от перенапряжения на работе?

От поля обломков по недавно расчищенной дороге идёт солдат в камуфляжной форме, идёт к горстке домов, которые, хоть волна их и накрыла, смогли устоять на возвышении в километре от моря. Возле одного из них — маленький сарай для инструментов, в котором местный старик собирает всякие памятные вещи. Солдат протягивает ему альбом с детскими фотографиями. Старик улыбается, берёт, низко кланяясь в ответ, осторожно кладёт альбом так, чтобы фотографии поскорее просохли, рядом с другими такими же.

— Я вообще в Кобэ живу, у меня маленькая бригада, делаем оснащение для супермаркетов. Рабочие у меня все бразильцы: наши-то, знаешь, грязную работу не больно любят. Ну вот, мы с бригадой работу закончим, откроется супермаркет, а потом приезжаешь туда через полгода — и вся торговая улица рядом с ним как вымерла, все лавки закрытые стоят. А с ними и община, считай, всё — накрылась. Потому и нет в Японии общин, откуда им появиться без торговых улиц? И друзей ни у кого тоже нет. А вот бразильцы, знаешь, они другие: и развлекаются всё семьями, сплочённые такие. Как закончится контракт, все на озеро куда-нибудь едут, палатки расставят и так живут себе неделю. Я пробовал тоже с ними ездить, да как-то не получается. Они работают, чтобы жить. А у нас всё наоборот: живём, чтобы работать. Потому я сюда волонтером и приехал: тут сейчас людям не до новых машин да телевизоров. Ощущение в воздухе совсем другое.

В Кобэ, откуда приехал мой собеседник, шестнадцать лет назад было землетрясение, вполне сравнимое с теперешним. Тогда люди впервые за много лет почувствовали, что такое взаимопомощь, неправительственные организации стали появляться как грибы после дождя, и все, кого землетрясение сколько-нибудь затронуло, с тоской вспоминают чувство сплочённости сразу после катастрофы. В этот раз первые волонтеры приехали в Фукусиму как раз из мест недавних катаклизмов.

— Первыми приезжают сумасшедшие вроде меня. Неустроенные, недовольные, те, что участвовали в студенческом движении в семидесятых. А потом собираются и другие, помоложе. Христиане, романтики, выпендрежники. Приезжают не в старых джинсах и свитерах из UNIQLO, а в дорогих брендах для хайкеров. Эти ищут другой способ жить, но, приехав, по привычке начинают вкалывать как сумасшедшие, а когда работы нет, садятся на корточки и рвут сорняки у тротуаров, чтобы всё время чувствовать себя хоть немного полезными. А новоприехавшие смотрят на них и стараются вкалывать ещё больше, чтобы их не считали лентяями. И выходит в результате то же самое: все живут, чтобы работать, будто под дулом. Но это волонтеры, а пострадавшие живут иначе. И нужно им совсем другое — просто разделить с кем-то горе. Особенно здесь: этот город никто восстанавливать не станет.

Мой собеседник закуривает и снова заговаривает о войне.

— Понимаешь, после войны у власти ведь те же самые люди остались, те же семьи всем и заправляют. Вот и жизнь идёт всё та же — по законам военного времени. Гляди, сотни километров в воду смыло, радиация кругом, а народ живёт себе, как жил, не жалуется — привыкший. Я вот недавно смотрел старый документальный фильм о том, как в Японии появились атомные электростанции. Показывали старика-американца, который вместе с газетным магнатом организовал тогдашнюю психологическую атаку. Никто тогда с атомом дела иметь не желал — что мы, дураки, что ли, после Хиросимы и Нагасаки? А американец — хитрый, говорит, японцы прочитывают в день минимум три газеты и только потом формируют своё мнение. Устроим в газетах кампанию про мирный атом, передовые технологии да энергию будущего, и купятся все. У вас, японцев, говорит, целые редакции, а в каждой — штат отменных да покорных подчинённых. Отменные да покорные, это уж

точно.

Мой собеседник сегодня уезжает. Дома новый контракт, новый супермаркет. Пройдёт полгода, и ещё одна торговая улица где-то далеко отсюда уйдёт в прошлое. В то время как здесь, в Минамисоме, всё наоборот: из города ушли все большие фирмы, банки, супермаркеты, закрылись даже больницы. Долгое время почтальоны отказывались доставлять почту. Открыты только мелкие лавки. В городе мало машин, и вскоре, когда уедут волонтеры и солдаты, их станет ещё меньше. Город уже тихий — такой, какими наверняка были города в старой Японии, до войны, до модернизации, до японского чуда. И те сорок из семидесяти тысяч населения, которые вернулись — по бедности или же от любви к своей земле, — будут здесь жить по иным законам. Им уже не нужно соответствовать всеяпонским или западным требованиям. Не нужно жить с оглядкой на всевластный общий знаменатель. Они смогут положиться лишь друг на друга: ни индустрии, ни государству до них уже дела нет.

Полдень, я иду по дороге вдоль овощного поля. Старик-крестьянин, присев на корточках, работает на грядке. У опрятного дома напротив стоят трое мужчин за сорок и разговаривают: наверное, их фирмы закрыли, и им уже некуда спешить. Небо удивительно синее, и в этой округе, где о трагедии напоминают только крики воронов, ищущих трупы на той стороне холма, в воздухе чувствуется какое-то неаппонское спокойствие. Я вдруг понимаю, что чего-то не хватает. Ну да. В городе почти не слышно детских голосов.

31. ЯПОНСКИЕ МЕНЬШИНСТВА

Всю жизнь проработала с людьми, которых дискриминируют, а теперь, видишь, могу испытать дискриминацию на своей шкуре. Теперь мы в Минамисоме все опасные стали.

За моей собеседницей, пухлой сотрудницей маленького заведения для ухода за инвалидами — в основном с психоневрологическими проблемами, стоит доска, увешанная посланиями, пришедшими из других учреждений такого же рода со всей страны. Корявыми, будто детскими знаками, на одном написано «Держись, Фукусима!». Другое, понятное, видимо, только писавшему, гласит: «Про туалет понял. Про вану понял. Поздравляю». Третье написано огромными знаками, которые совершенно невозможно разобрать, а рядом мелким аккуратным почерком, наверное, сиделки, подписано только имя автора. В верхнем углу доски — бумажка с сегодняшним уровнем радиации.

— Первые дни мы вообще ничего не знали. Цунами до этого здания не дошло — метров за девятьсот остановилось, от землетрясения тоже почти не пострадали, а потом вдруг началась эта история с АЭС. Полная неразбериха, и что делать — непонятно. По телевизору одно говорят, муниципалитет — другое. Радиацию же не видно, вроде живём как живём. Только вдруг всё закрываться стало: магазины, банки, почта приходить перестала. Те, что в радиусе двадцати километров, у них выбора нет. А нам говорят: «Если хотите, оставайтесь — на свой страх и риск». Лучше бы от дома ничего не осталось — решать было бы легче. Некоторые уезжать стали — у кого было на чём. Бензина-то не было. Один бензовоз наконец приехал, да только водитель отказался в зону въезжать — встал за тридцать километров и стоит. Целый день искали кого-то в городе, у кого были бы права с разрешением на опасные грузы. По радио говорят: «Оставайтесь в помещении», — а как ещё за бензином в очереди семь часов стоять с баком в руках? Некоторые с детьми маленькими... Из больницы почти весь персонал уехал, осталось четыре человека на сорок больных — стариков с деменцией на инвалидных креслах. Ну, как-то их всё-таки вывезли, только не знаю, сколько довезли, — человек тридцать стариков из деревень вокруг так и не доехали — умерли по дороге. А потом продуктов становилось всё меньше, лекарств не хватало, я и выбралась в центр префектуры, сначала справку, конечно, получила, что незараженная, а то ещё не пустят — сейчас на наши автомобильные номера косо смотрят. А там со всей страны столько еды да лекарств прислали... Я говорю: возвращаюсь в Минамисому, отвезу инвалидам да больным. А мне в префектуре говорят: не можем, мол, ещё неизвестно, где

кому сколько надо, как поймём, тогда и раздавать будем. Накупила сама лекарств, что смогла, и отвезла — а что делать? Из главных газет названивают, я им всё объясню, а они мне говорят: сходите, мол, до берега, фотографий нащелкайте да нам мейлом пошлите — а сами и носа не кажут. Потом (или это до того было?) муниципалитет нанял автобусы на три дня, людей вывозить. А я всё сидела, думала: ехать, не ехать... Один с психическим расстройством, когда в автобус сажали, испугался чего-то, убежал — долго его искали. А потом люди возвращаться начали — инвалиды первыми. Родителям инвалидов везде тяжело: в приюте для беженцев они обуза, у родственников долго не проживёшь, где-то квартиру снимать тоже трудно — чужаком, в незнакомом месте, да ещё с инвалидом. Если целая группа из Фукусимы, ещё ничего, а когда ты один... Потом и крестьяне возвращаться стали — дом, хозяйство. Нет, продавать-то они выращенное не будут, только для себя...

Входная дверь приоткрывается, и в проёме показывается странной формы голова. Огромный лоб, выпяченный подбородок, а в глазах под густыми бровями — удивительное очарование. Моя собеседница встаёт, приветствует пришедшего.

— Скучно им дома сидеть, вот и приходят просто так, посмотреть. Мы через двадцать минут открываемся, — объясняет она и несёт пустые чашки на кухню. На пороге вдруг останавливается, оборачивается ко мне. — Вы всем скажите, ладно? Что у нас тут обычная жизнь. Что мы — как все.

Быть как все. Жить как все. Или прозябать на обочине бодрого японского чуда, как на фоне японской модернизации живут многие инвалиды — прячась в четырёх стенах с рядом рисовых лепёшек в холодильнике, сделанных стыдливо навестившим родственником на неделю вперёд... В Японии или ты со всеми, или все против тебя. Максимум, если повезёт, — против тебя и очень тесного меньшинства иных, подобных тебе. Поэтому людям очень важно, чтобы обыденность не была нарушена — даже если для этого приходится притворяться. Это заколдованный круг, дурная бесконечность, в которой несчастье почти всегда умолкает навсегда и лишь в очень редких случаях подаёт голос — взрываясь воплем.

За соседним столом группа волонтеров составляет списки инвалидов, вернувшихся в город (как выяснилось, данные муниципалитета совершенно никуда не годятся). От них отделяется и подходит ко мне глава этого учреждения, пожилой человек в очках и без маски на лице — очевидно, ради той же обыденности в городе масок вообще почти не носят, так что я тоже её не надеваю, чтобы не казаться чужим. Он делает мне знак глазами в сторону двери. Мы выходим, я закуриваю.

— В других местах всё проще — они, если постараются, смогут снова наладить жизнь. А когда нам вернут нашу землю? Через двадцать лет? Тридцать? Я раньше бухгалтером работал, так лет десять назад все фирмы-подрядчики АЭС вдруг стали зарабатывать всё меньше и меньше. Я спрашиваю: почему? Они говорят: раньше регулярная проверка оборудования шла в течение одного года. Потом сократили до полугода. А в последнее время — вообще три месяца. Это и понятно: пока проверяют, и деньги подрядчикам платить надо, и электричество не идёт. А в то время как раз по всей Японии начали кондиционеры ставить, электроплиты, «полный переход на электроэнергию» — тут не до проверок. Один старик-профессор, который им клапаны проектировал, вообще говорил: там половина оборудования рассчитана на двадцать лет. А они продлевают срок на тридцать, сорок, а правительство утверждает. Как вот теперь вдруг взяли и подняли допустимые значения радиации — мол, всё вполне терпимо, жизнь идёт как обычно.

Мой собеседник вздыхает. Рядом с ним на земле стоит мощный внешний блок кондиционера. А за окном в комнате, из которой мы только что вышли, на самом видном месте красуется огромный плоский жидкокристаллический телевизор, который, кажется, не выключают весь день — как и везде. Волонтеры начинают расставлять тарелки с рисом. Ставень приоткрывается, и из окна высовывается и сразу же пропадает всё та же странной формы голова, на этот раз с довольной ухмылкой на губах.

— Мы теперь с ним повязаны. Он увечный, а я из Фукусимы. Что называется, дискриминируемые меньшинства, — усмехается мой собеседник и уходит в дом.

32. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Катастрофа на АЭС прочертила трещину в монолитной стене японского общества — трещину, которую, по крайней мере сейчас, игнорировать просто невозможно. Станет ли она шире, рухнет сама стена или нет — говорить ещё рано. Сегодня можно лишь попытаться обрисовать её теперешние контуры. Ориентир на обыденность под страхом остракизма срабатывает прекрасно в случае обычного стихийного бедствия — пострадавшие получают сущие гроши на отстройку новых домов и делают всё, чтобы скорее стать как окружающие, дома которых стоят, не тронутые катастрофой.

На этот раз такой сценарий не срабатывает. Как минимум во многих городах и деревнях префектуры Фукусима обыденность не восстановить ещё очень долго. Радиация в море, быть может, навсегда разрушит повседневность многих других в регионе Тохоку — и рыбаков, и крестьян. Цена, которую приходится платить за имидж продвинутого государства, за яростный свет городов, бесчисленные кондиционеры и пять миллионов торговых автоматов, оказалась на этот раз слишком высока для такого количества людей, что меньшинством их уже не назовёшь. Найдётся ли у них голос? Или даже теперь сработает самоцензура, и они тоже замолчат в заколдованном круге японской обыденности?

Японское общество, как никакое другое, способно спрятать недовольных, спрятать иных, спрятать слабых. Это доказывает растущее число (счёт идёт на сотни тысяч) так называемых хикикомори. Или почти всеобщая готовность гордо сказать, что Япония — страна японцев, игнорируя постоянно живущих в стране иностранцев. Или место, которое общество на протяжении десятилетий уделяло инвалидам, — специальные учреждения с высокой стеной да парой овчарок, неизменно расположенные далеко в горах. Способность общества к конструктивным изменениям определяется как раз отношением наименее пострадавших к наиболее, отношением сильных к слабым. Установка на национальное агрессивное единодушие означает, что большинство решений принимается в Японии единогласно, а голоса против если и звучат, то только нервным и безнадёжным шёпотом. Поэтому таким городам и деревням, как Минамисома, скорее всего, будет отведено вполне легитимное место на задворках японского чуда — среди других деревень неприкасаемых, забитых и забытых.

После землетрясения часто трудно решить, надо ли дом перестраивать или достаточно просто замазать трещины шпаклёвкой. В моём доме, построенном тридцать лет назад, таких замазанных трещин немало. В здании японского чуда их гораздо больше. Мне кажется, пора уже взяться.

33. СТЫДНО?

Да и вообще на черта нам нужны атомные электростанции? — сказал я голому японцу, сидевшему в чане с горячей водой на крыше общественной бани. Сам я сидел в таком же чане и в таком же голом виде рядом. Мы познакомились всего минут пять назад.

— А вы подумайте о людях, которые их строили, которые десятилетиями там работали. Они, между прочим, ради всех нас старались — чтоб нам всем лучше жить было. Каково, думаете, им придётся, если теперь все вдруг скажут — «не нужно»?

На мгновение он взглянул мне в глаза, потом перевёл взгляд на горы перед нами, в семистах километрах от Фукусимы. В маленьком городке по ту сторону этих гор, по слухам, хотели устроить свалку для земли с повышенной радиацией — куда-то же её вывозить нужно, — но жители воспротивились. Моему собеседнику было уже за сорок, так называемое поколение мыльного пузыря, эпохи всеобщего благоденствия, когда рабочих мест было больше, чем населения, уровень жизни рос с каждым днём, и общество говорило тебе спасибо уже за сам факт твоего существования. Руки у него были белые и пухлые — руки человека, никогда ими особенно не пользовавшегося.

— Мой отец, знаете, всю жизнь проработал на атомных электростанциях. Как бы вам это понравилось, если бы всю вашу жизнь вот так вдруг взяли и перечеркнули?

Я попробовал себе это представить. И правда, мне бы это не очень понравилось. В голове сразу возникло какое-то смутное ощущение полной безысходности и бессмысленности собственной жизни, абсолютного тупика бытия. Я почему-то представлял себя сидящим в одиночестве в тёмной комнате, безуспешно пытающимся найти хоть одно оправдание. Вспоминающего всех тех, кто подтолкнул меня к выбору профессии. Попытался как-то объяснить свои решения влиянием людей, окружавших меня в молодости, диалогами с ними. Вспомнил реакцию отца. Подумал было об искуплении грехов. И тут мой собеседник заговорил снова.

— Вы бы знали, как сейчас трудно отцу на улицу выйти — люди пальцем показывают, говорят: смотри, атомщик идёт. Судачат за его спиной. Думает переехать куда-то, где его никто не знает. Дискриминация, знаете, штука тяжёлая.

Меня вдруг осенило. Я всё ещё один в тёмной комнате, но окна зашторены не потому, что я хочу сосредоточиться на своих терзаниях и не видеть ничего вокруг, — просто-напросто неизвестно, кто там может подглядывать. Моя проблема вовсе не в том, чтобы объяснить и оправдать прошлое, — мне нужно разобраться с настоящим и будущим, с людьми, которые окружают меня сейчас. Проблема не столько внутренняя и душекопательная, сколько внешняя. И при наличии средств решается очень просто — переездом.

Много всего уже было сказано о пресловутом японском стыде. Что японцы, дескать, не чувствуют вины, а чувствуют лишь стыд. Что их переживания — внешние, основанные на заботе о собственной репутации, а не внутренние, вот потому им и нет толку от исповедей и раскаяний, ведь они, мол, ориентируются на оценку других, а не на внутренние ценности, как мы, европейцы.

И вдруг я задумался о своей японской жене. Дочь школьных учителей, умница и отличница, в своих поступках она действительно руководствуется тем, что о ней подумают другие, причём другие, на которых ей самой (если остановиться и задуматься) нужно было давно наплевать. Она приходит домой из университета, где в последнее время работает, и бесконечно жалуется на то, что её недооценили, что все её старания оказываются бессмысленными, что по службе продвигают других, которые делают гораздо меньше, но умеют влезть в доверие к профессорам. Она же старается, чтобы ею были довольны абсолютно все — и инвалиды, с которыми связана большая часть её работы, и студенты, и уборщицы. Она — что называется, хаппобидзин, буквально — безупречная во всех смыслах и отношениях, откуда ни посмотришь, со всех восьми сторон света.

А потом я подумал о себе самом. О чём я думал в своей воображаемой тёмной комнате? Был ли я там наедине со своими внутренними ценностями? Вовсе нет. Я думал о своих поступках не один, а как бы вместе с теми, кто повлиял на меня в прошлом, — друзьями, родителями, своими. Все мои вроде бы внутренние ценности были сделаны коллективно. Я — лишь частность, фигурка, сложенная из других фигурок, людей, наиболее важных для меня. Если бы кто-то смог отделить их от меня, вытащить их из меня, одного за другим, я даже не знаю, осталось ли бы что-то в конце.

Дело не в стыде или вине, а в том, кого мы наделяем правом говорить нам, кто мы такие. Кто-то даёт это право только Богу. Кто-то — ближайшим друзьям. Кто-то — вышестоящим. Некоторые — вообще всем окружающим. Кто-то наделяет этим правом только тех, кого уже давно нет рядом, — людей из собственного прошлого. Другим важно лишь настоящее и будущее.

Мой голый собеседник, положив пухлую руку на край чана, кажется, всё ещё думает о своём отце. И смотрит на горы перед нами, горы в семистах километрах от Фукусимы.

И далеко, и близко.

34. КУЛЬТУРА ПРЯМОЙ РЕЧИ

Года три назад один учёный, занимающийся историей японской кинематографии, совершенно случайно отыскал на барахолке старейший в Японии мультфильм. Плёнка была в картонной коробке и, хотя пролежала ни много ни мало 91 год, неплохо сохранилась, поскольку картон хорошо впитывает влагу и не дал ей отсыреть. Плёнку отреставрировали, оцифровали и проиграли. Оказалось, что произведение это — длиной в две минуты и называется «Тупой меч». Сюжет состоит в том, что самурай, обманутый шельмой-продавцом, получает за свои, отнюдь не собственным потом заработанные деньги меч, который оказывается тупым. Решив испробовать меч на деле, самурай идёт по дороге домой и рубит налево и направо то попавшегося по дороге почтальона, то ещё кого-то, но меч не наточен и, естественно, не причиняет честным труженикам никакого вреда, а герой в самурайских штанах хакама получает то, что ему причитается, — хорошую взбучку.

Такое издевательство над уже отменённым к тому времени сословием, наверное, было народу по душе и уж точно весьма конъюнктурно. Ведь как раз тогда Япония старалась модернизироваться по германскому образцу, и самураи поумнее норовили как можно скорее перековать мечи на подзорные трубы и во все глаза смотреть на Запад — учиться европейской мудрости и вставать в строй зарождавшейся интеллигенции. А тем, что поглупее, оставалось сменить меч или на счёты торговца, или на более современное оружие.

Глядя на совершенно европейские ухватки мультипликаторов почти столетней давности, я вдруг задумался: отчего именно здесь этот жанр так своеобразно развился, отчего именно Япония стала главным экспортёром анимации и комиксов во всём мире?

Япония, во всяком случае сейчас, — страна прямой речи. И не в том смысле, что японцы так уж прямо выкладывают, что у них на душе, — скорее, наоборот, — а в том, что они постоянно — и в литературе, и в разговорах — кого-нибудь да цитируют. Засилье цитат такое, что, когда я занимаюсь переводами японской литературы, мне чуть не в каждую строчку хочется вставить слово «мол» или сделать кавычки внутри кавычек. Большинство шуток в любом коллективе строится на том, кто что и как сказал, а более всего ценится умение пародировать голос и точную манеру говорить. Если начинаешь речь словами «Я вот думаю, что...», немедленно всех одолевает зевота. А если скажешь «Тут вот Танака-сан мне вот чё сказал...», то все взгляды немедленно устремляются на тебя. Никому не интересно, что ты сам себе думаешь. Но вот что сказал тебе Танака-сан и что ты ему ответил — это хочет знать каждый.

В Японии есть целый жанр комедийного рассказа — так называемый ракуго, — в котором вся история должна быть передана без единого слова от автора, исключительно прямой речью действующих лиц. И комиксы, пришедшие из Европы и Америки, легли на такую весьма благодатную почву непомерной заинтересованности, быть может, даже некоей заикленности на прямой речи.

Японцы читают манга и смотрят аниме ровно для того же, для чего европейцы читают романы или смотрят пьесы, — чтобы узнать что-то о себе, узнать в ком-то себя и построить, перестроить или утвердить собственное мировоззрение. Но делается это несколько другим способом — через бесконечные цитаты, бесконечную прямую речь, проигрывание различных способов разговора, позиционирования себя в коллективе. Ведь социальная жизнь японца завязана на бесконечных условностях и отходах от них, потому и повышенный интерес к диалогам и прямой речи, ведь именно здесь, а не в душекопательных монологах и проступают отношения человека со своими многочисленными масками.

Сегодня я шёл из магазина домой, а навстречу мне, вихляя влево и вправо, на довольно приличной скорости ехал велосипедист. Я несколько близорук и сначала не понял, почему тот выписывает такие пируэты ещё в пять вечера: вроде пить японцу ещё рановато, а уж быть настолько пьяным — так и вовсе не к лицу. Он приблизился, и я понял, в чём дело. Это был школьник лет четырнадцати, серьёзного вида, в очках.левой рукой он небрежно держал руль, а вот в правой, и хваткой совершенно мёртвой, — книжку комиксов, которую жадно пожирал глазами. Я благоговейно отошёл в сторону, давая ему дорогу. Понимая, что рано

или поздно он отдаст жизнь за искусство.

Но не желая составить ему компанию.

35. ДВЕ ПОЛУЗАБЫТЫЕ БОМБЫ

Перед нами — кордон полиции, сплошная стена шлемов и щитов, за ними — ещё одна стена, высокая, железобетонная, окружающая огромное серое здание на склоне горы. Наверху — пара вертолётов, вроде бы тоже полицейских. Внизу — скалы и море. А на площадке перед кордоном под накрапывающим дождём стоит горстка людей, в большинстве уже под пятьдесят, крича: «Нет ядерной энергии! Убирайтесь из нашего города!» Я, проведя всего полгода в Японии и не очень понимая ситуацию, на скверном японском вторю народу и думаю: «Какого чёрта меня сюда занесло? И чем так уж не угодила нам эта ядерная энергия?» Уже много лет спустя я начал понимать, что у японцев с ядерной энергией связь особая.

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — вполне конкретный поступок вполне конкретных лиц, обусловленный ходом войны, политическими, экономическими и идеологическими соображениями того времени. За той трагедией, которая унесла двести тысяч жизней сразу и ещё больше вследствие лучевой болезни, за обугленными телами и висящей лохмотьями кожей стоят весьма определённые люди — стоит японская военная верхушка, до последнего не желавшая признать поражение, несмотря на чудовищные потери на Окинаве, стоят Гарри Трумэн, отдавший приказ сбросить бомбы, Сталин, поздравивший Трумэна с успешным созданием оружия невиданной силы, и, наконец, сами лётчики, одним движением руки прервавшие столько жизней.

Но для японцев атомные бомбардировки прежде всего — некое почти стихийное бедствие, обезличенное настолько, что виновных — будь то определённые лица или социальные и исторические факторы — искать просто не приходится. Музеи в обоих городах ставят целью не выявить причины, а именно показать всю бесчеловечность происшедшего — как в смысле жестокости, так и в смысле отсутствия человеческой вины.

В то время как Запад всегда видел в бомбардировках чудовищную жестокость, то порицая её, то пытаясь найти ей оправдания, для японцев они вскоре после войны стали чем-то вроде землетрясения или цунами. В школах герои рассказов об атомных бомбардировках — или страдающие животные зоопарка Хиросимы, или дети, потерявшие родителей и безуспешно пытающиеся их отыскать. А взрослых — как японцев, так и американцев, которые и являются носителями идеологий той эпохи, которые как раз и ответственны за эту трагедию, — там словно бы и не было.

В отличие от Германии, где проблема осознания войны была решена всенародным раскаянием, которое стало краеугольным камнем и политики, и самосознания, в Японии война всё ещё продолжается.

Япония так и не принесла формальных извинений Азии за эшелоны так называемых ианфу — девушек, которых японская армия заставляла следовать за полками для утоления мужских потребностей солдат, а японские премьер-министры так и ходят молиться в храм Ясукуни, где к богам приравнены души ответственных за бессмысленную и проигранную войну офицеров.

На Второй мировой всё ещё не поставлена точка, и, словно незаконченное предложение, война живёт в каждом японце до сих пор.

Прошедшие войну старики качают головой и жалеют о глупости японской верхушки, развязавшей войну с таким сильным противником, — не отождествляя себя с идеями того времени, но и не отвергая их. Молодые говорят, что они в войне не участвовали и поэтому отвечать за деяния отцов не должны. Преемственности поколений уже 65 лет как нет, поскольку общество идеологически, да и экономически нарезано на поколения, как на классы, и диалога между ними практически нет. В результате Япония сегодняшнего дня неуверенно цепляется за японское понятие мира, которое основано не на понимании

агрессии, а только на страхе — страхе повторения войны, повторения ужасов атомных бомбардировок...

В японском обществе, где ещё в XIX веке убийство было вполне приемлемым способом решения ссоры, сейчас практически нет драк даже среди детей, а самое страшное выражение гнева — слегка приподнятые брови и вопрос: «Что же это вы, по-вашему, делаете?» Образование делает упор, прежде всего, на мире, и в почти всех песнях для хорового исполнения в школах и детских садах ключевое слово — «дружба», причём не конкретная дружба западного типа, где дружим «я» и «ты», а обобщённая дружба всего класса, школы, города или человечества в целом. Из книг для детей изъяты все жестокости, и волк, поняв свою ошибку, становится лучшим другом Красной Шапочки, её товарищем по играм в песочнице.

В результате именно потому, что всё общество ориентировано на миротворчество, не основанное на понимании войны или регулирования агрессивности в целом, совершенно отсутствуют механизмы разрешения споров, и ненависть, стоит ей накопиться, выплёскивается в формах поистине ужасающих — как показывают инцидент с заринном 1995-го и число убийств, совершаемых по чисто тривиальным причинам.

Во время послевоенной оккупации, с её Токийским судом и принятием новой конституции, Япония объявила, что не станет создавать собственную армию и покажет всему миру пример истинно миротворческого государства. Но уже в 1950-м началась война в Корее, затем, в 1965-м, — во Вьетнаме, и между Японией и Америкой был заключён договор, фактически превративший миротворческую Японию в базу размещения американских войск.

Студенческое движение, которое попыталось отстоять насаждённые американцами принципы миролюбия от самих же американцев, было подавлено, от армейских заказов экономика стала быстро набирать обороты, и с новым благоденствием проблемы Второй мировой оказались неудобны для всех. Противоречия между миротворчеством и атомными подводными лодками на Окинаве, между нежеланием использовать атомную энергию и необходимостью атомных электростанций для нового экономического роста, между ущемлённой гордостью и необходимостью американской военной защиты от Северной Кореи были старательно забыты.

Похоже, Хиросима и Нагасаки с их обезличенным ярлыком стихийного бедствия стали ещё одним вопросом, который японцы стараются отложить, так и не разобравшись в нём до конца.

36. ЕВРЕИ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Дорога с перевала была длинная, каменистая и всё вниз — километров десять, не меньше, — а велосипед старый, шины истёртые, колодки тормозов как железные, и на полпути вниз камера на раскалившемся ободе таки лопнула. Резиновая заплатка у меня была, а вот насоса почему-то не оказалось. Я как-то добрёл до деревни у подножья и, оставив велосипед у прогнившего забора придорожной закусочной с громким названием «Европейская Еда», зашёл внутрь. И там познал, что еврей и японец — братья навек.

Поскольку еврейство у меня неправильное — по отцовской линии, — я стараюсь его особо не акцентировать, считая, что данная мне таким неудобным образом еврейская кровь скорее освобождает меня от национальных признаков, давая полное право сидеть под сакурой, закусывать ром мацой и петь «Мы же русские, Танька». Но кем-то себя называть надо, а в Японии, стоит человеку назваться русским, на него немедленно выливают ведро ассоциаций от матрёшек и водки до казачьих плясок, поэтому я часто представляюсь как еврей из России — на эту гремучую смесь у японского народа штампов не заготовлено, и можешь выстраивать свой образ сам. Но в этот раз не вышло.

Я сел у стойки и заказал хозяину закусочной какое-то блюдо, решив, что лучше сначала завоевать его расположение, а потом уже выпрашивать насос. И на первый же заданный мне

вопрос выдал ему свой пятый пункт.

— Еврей? — переспросил он, застыв со сковородкой в одной руке и куском чего-то европейского в другой. Затем повернулся и возбуждённо крикнул куда-то вглубь дома: — Жена, к нам еврей приехал!

Отдёрнув занавеску, к нам вышла женщина деревенского вида и встала рядом с мужем. Некоторое время оба заворожённо смотрели на меня, как на эдакую мифическую птицу. Затем, очевидно поняв по моему недоумённому виду, что птица считает себя последним воробьём, начали меня просвещать.

Оказалось, что миром на самом деле правят евреи, но правят тайком, не показывая до поры до времени своей силы. Но что в двухтысячном году (дело происходило года за два до великой даты) они открыто заявят о своём могуществе и создадут всемирное правительство, упразднив все остальные. И тут-то, мол, мы, японцы, и пригодимся — в качестве правой руки. Почему? Да потому, что японцы — прямые потомки одного из десяти колен Израилевых, сбежавших из Палестины в Японию. Что, не веришь? Подумай, столько всего общего между Ветхим Заветом и японской мифологией, между иудаизмом и синтоизмом, слова кое-какие совпадают, да и вообще у нас Y-хромосома одна и та же.

Я слушал вполуха, хоть и удивляясь количеству выдаваемой мне информации, думая, как бы повернуть разговор в сторону насосов да европейской еды, которая теперь лежала, всё ещё нежареная, на сковороде рядом с плитой. Хозяин же, неверно рассудив, что мне просто не хватает доказательств, отправился на второй этаж и притащил мне с десятков брошюр, какие в городах разносят по домам пожилые бабы — всегда уродливые, очень дорого одетые да с японской парасолькой, — и всё стало ясно. Хозяин гнал не от фени, а от религии.

Я покорно взял первую брошюру, и хозяин, не желая мешать праведному делу, наконец поставил сковороду на плиту. С обложки на меня смотрела гора — наверное, Синай, — а уже на развороте я нашёл то, что искал: фотографию и биографию основателя.

Основателю было всего лет сорок на вид, был он толстоватый, в костюме, в очках и выглядел совсем как обычный японский бухгалтер, только похитрее. А в биографии указывалось, что он не так давно приехал из Америки, где учился на экономическом, много общался с представителями величайшей расы и из первых рук добыл свою истину. Дальше следовала масса статей, разъясняющих доктрину и подчёркивающих, что, хотя все японцы и являются, по сути, евреями, в новое правительство возьмут только первых учеников. А на последней странице — неизменный в таких брошюрах номер банковского счёта: присылайте, мол, кому не жалко.

— Ну, понял? — сказал хозяин, ставя на стол долгожданную тарелку.

Я нерешительно вякнул, что если и действительно правлю миром, то этого пока не заметил.

Хозяин сухо усмехнулся.

— Ты с другими евреями связь-то поддерживаешь? Нет? А что ж ты тогда хочешь? Еврейская сила — в единении! Ищи евреев, они везде есть. Еврей еврею — лучшая опора.

Я вдруг подумал, что если так, то хозяин как прямой потомок мирового еврейства охотно поможет мне с насосом, а, если повезёт, может, и за еду не возьмёт. Проглотив последний кусок, я изложил ему свою проблему.

— Насос? — буркнул хозяин. — Нету у нас насоса. Сломался.

На лице его вдруг появилось какое-то другое выражение, словно у ручного феникса отказала система зажигания.

Я расплатился, попрощался и вышел на улицу. Скрипнув пружиной, закрылась дверь. Но я всё же успел услышать, как он бормочет про себя:

— Тоже мне, еврей. Один, без насоса, на велосипеде по горам разъезжает...

37. ДЕЛО О СПУЩЕННЫХ ТРУСАХ И КИОТСКОЙ БАШНЕ

В школе, где учатся мои дети, недавно произошла такая история. Несколько пятиклассников перед уроком физкультуры начали хвастать, у кого какие трусы, и демонстрировать их друг перед другом, приспуская шорты. «У меня в клеточку!» — «А на моих машинка!» — «А на моих — Ампанман!» — заявил один ребёнок, передвигающийся на инвалидном кресле. Для неискущённых поясню: Ампанман — булкообразный супермен японского мультфильма для дошкольного возраста, имя которого в буквальном переводе звучит так: «Человек-Булка со Сладкой Бобовой Начинкой». Поскольку инвалид сам показать свои трусы не мог (или не хотел — кто теперь разберёт?), а взглянуть на Ампанмана хотелось всем, кто-то дёрнул его штаны вниз, трусы слезли тоже, обнажив не только пресловутого Ампанмана, но и самое дорогое. Все похихикали, трусы и штаны были возвращены на полагающееся место, и дело вроде бы на том и кончилось.

Но одна из матерей, услышав от сына эту историю, решила спросить у учителя, не обиделся ли тот паренёк с инвалидностью. Учитель, узнав о происшедшем от неё, немедленно доложил обо всём директору, который страшно испугался огласки, а то и суда, тут же созвал Комиссию по Разработке Курса Дальнейших Действий по Делу о Трусах и Самом Дорогом, вся компания была вызвана в кабинет директора и допрашивалась десятком учителей в течение трёх часов, во время которых детям нельзя было даже сходить в туалет. Вопросы задавались одни и те же: «Ты смеялся, когда увидел самое дорогое инвалида?», «Тебе было смешно потому, что он инвалид?» И самое главное: «То, чем вы занимались, было идзимэ?»

Слово идзимэ появилось в начале восьмидесятых годов, очевидно, под влиянием Запада, и является наиболее близким японским эквивалентом английского слова *bullying*, означая издевательство нескольких учеников над одним.

В 1979 году произошла нашумевшая история с самоубийством школьника, который в предсмертной записке написал, что к смерти его подтолкнуло идзимэ со стороны одноклассников. По уверениям моих друзей-японцев, в восьмидесятые почти каждый в классе в то или иное время подвергался травле. К 2007 году даже государственная статистика гласила, что идзимэ существует в 40 процентах школ. Были организованы комитеты по борьбе, школам стали вменять в обязанность предотвращать и искоренять, и ныне по количеству народа, так или иначе кормящегося от этого концепта, Япония наверняка стоит на первом месте в мире.

Оглядываясь на свои советские школьные годы, я не могу найти эквивалента японскому идзимэ. Разумеется, издеательства были, но они никогда не были издеательствами всех (или хотя бы многих) против одного. Класс был всегда разбит на группы по модели советских взрослых, организованных в группы своих, и совершенно одиноких там просто не было — как, кстати, их не было и в Японии лет сорок назад. Помню, был парень, от которого почему-то постоянно воняло дерьмом. Он занимал, пожалуй, одно из последних мест в иерархии, но даже у него был друг, наоборот, болезненно чистоплотный, который, пока над тем измывались, робко соболезнуя, стоял рядом. Были и драки, но они всегда были или один на одного, или (реже) многие против многих, причём толпа зрителей всегда стояла и следила, чтобы всё было честно. Быть может, мне просто повезло, но японского идзимэ — когда те, кого ты считал своими друзьями, вдруг делают вид, что ничего не замечают, или тоже оборачиваются против тебя, — просто не было.

Теперешняя японская образовательная система вообще устроена очень странно. Дети не могут выбирать, с кем им сидеть вместе за партой — это определяется жребием, причём раз месяца в три происходит новая жеребьёвка, и каждый год классы тасуются между собой так, что полностью меняется состав каждого. При этом и в школьных текстах, и в рацеях учителей одноклассников называют не иначе как друзьями. С целью создать единый и сплочённый коллектив с пресловутой японской гармонией государство в лице школьной администрации как бы берёт на себя выбор твоих друзей, а твой собственный не признаёт. Одновременно школа полностью узурпирует всякое видимое насилие, уже к концу первого класса успешно искореняя практически все кулачные драки, говоря тебе каждый раз: «Как

ты можешь ударить друга?» В результате все доморощенные способы регулировать насилие — как, например, «двое дерутся, третий не мешай» — оказываются вне закона.

Судя по воспоминаниям тех людей, которым сейчас под шестьдесят, в прошлом всё было не так. Классы были, как и в России моего детства, раздроблены на группы с парнями покрепче во главе, были примерно те же негласные законы, те же кольца зрителей, те же работающие, хоть и не всегда морально высокие, способы разрешения разногласий, и термина «идзимэ» как такового не существовало. Что же случилось с тех пор?

Есть хороший японский анекдот. Откуда открывается лучший вид на город Киото? С Киотской башни. Почему? Потому, что с неё её же не видно. Советская государственная система была хороша там, где она не функционировала или почему-либо не срабатывала, давая детям возможность выстраивать другую, несанкционированную мораль. У теперешней японской системы таких слепых пятен гораздо меньше.

История с трусами всё же рассосалась — мать инвалида, узнав о происходящем, пришла в школу и заявила, что сын вовсе не чувствует себя обиженным. Но к тому времени комиссия из десяти учителей уже успела обойти дома предполагаемых виновников и устроить настоящую истерику перед крыльцом каждого, практически вопя на матерей: «Разберитесь со своими детьми». Жертвы трёхчасового допроса до сих пор не пришли в себя. Одному из них, мальчику высокому, неглупому и большому любителю японской истории, который в былое время был бы неоспоримым лидером любого класса, я задал тот же самый вопрос: «Это было идзимэ?» Тот ответил, что нет. Тогда я спросил, а что такое идзимэ. Тот немного подумал, потом взглянул мне в глаза. И с неожиданной грустью в голосе, словно одной фразой оценивая всю свою школьную жизнь, ответил: «Это когда много слабых измываются над одним сильным».

38. УМИРАТЬ В ОДИНОЧКУ

Я долго не проживу, — сказал я старику соседу под восемьдесят с хитрой, но немного грустной ухмылкой человека, который прожил всю жизнь, гоняясь за удовольствиями. Мы стояли перед калиткой моего дома — я курил, а старик почему-то решил прервать свою каждодневную прогулку вокруг квартала, чтобы рассказать мне о Цусимском сражении, периодически прерывая рассказ словами: «И этого не знаешь?» Старик проработал всю жизнь на телевидении, снимая документальные фильмы, и во время волнений шестидесятых бегал с камерой за студентами — вместо того чтобы бросать в полицейских коктейли Молотова, как поступил бы в то время каждый уважающий себя человек.

— Это почему ещё не проживёшь? — спросил тот.

— Да курю много, — ответил я, стряхивая пепел самокрутки, вставленной в купленный на барахолке мундштук из слоновой кости — наверняка не многим моложе моего собеседника.

— Да проживёшь! — тот махнул рукой. — Я всю жизнь курю, отец вон в девяносто умер и только последний год курил поменьше — пять штук в день. Знаешь три главных порока? — вдруг спросил он, глядя мне прямо в глаза. Ухмылка в его собственных стала ещё хитрее.

— Не-а, — ответил я.

— Спиртное, табак и женщины. Я, знаешь, только спиртным не баловался.

Старик слегка откинул голову назад, смакуя мою реакцию. Было ясно, что фраза опробована не раз. Старик даже сейчас смотрелся недурно — в нём было то самодовольное пренебрежение ко всем окружающим, от которого женщины — особенно молодые — безотказно сходят с ума. Наверняка в молодости он мог снять любую.

— А жена? — спросил я.

— А что жена? Терпела, что ей было делать. А теперь уже всё — срок давности прошёл. Мы ведь вместе уже сорок лет, дело былое.

— А она тоже так думает? Что дело былое? — спросил я.

В ухмылке старика хитрость слегка пригасла, уступая место грусти.

— Мы просто живём вместе, уже давно, — проговорил он. Сделал паузу и взглянул на меня выжидающе. Я ничего не отвечал, и он снова хитро ухмыльнулся. — Человек, знаешь, рождается один. Один и умирает. На тот свет ведь она вместе со мной не пойдёт, а? Я и не раскаиваюсь.

Фразу он наверняка выучил в молодости, в пятидесятые, когда во время оккупации американцы пытались бороться с коллективизмом военного времени, внушая японцам идеалы индивидуализма — мол, живи для себя, всё равно умирать будешь в одиночку. А я вдруг вспомнил свою бабушку, которая после смерти мужа только и говорила о том, что хочет уйти вслед за ним. И когда она наконец умерла, я плакал и плакал, — и понимал, что в каком-то смысле умер вместе с ней.

А потом вспомнил слова своего приятеля-лесоруба из маленькой деревни на севере Латвии, лысого гиганта с квадратным подбородком и плечами шире моих раза в полтора. В тот день из латвийской столицы в деревню приехала погостить моя молодая знакомая со своим приятелем-студентом, который отказался общаться с местным народом потому, что уж больно они неотёсанные, ну и со мной тоже, заявив, что знает только латышский и французский, а вот русский с английским — нет. Может, и правда не знал. Но всем своим видом давал понять, что наше с вашим и рядом не лежало. Настал вечер, студент сидел в доме и разговаривал со знакомой о высоких материях — или уже перешёл к материям пониже, — а мы с дровосеком-латышом глушили на крыльце пятую бутылку пива, и я жаловался ему на проклятого интеллигента.

— Не знает он, вишь ты, ни английского, ни русского. По-французски ему подавай. Сука, а?

Вдруг рука лесоруба опустилась мне на плечо, тяжестью придавив меня к крыльцу.

— А ты ему..., по-японски!

Мой рот растянулся до ушей. Я знал, что в этот момент моё знание японского было ровно столько же моё, сколько и его, предмет гордости для нас обоих. И что я имею ровно столько же прав на его тяжёлую силу, на его руку весом с собрание сочинений какого-нибудь французского философа, сколько и он сам. Что я сейчас в своём глупом раздражении на столичного выпендрёжника — да и вообще в жизни — не один.

Старик ушёл домой — к жене, с которой он только живёт вместе, — а я вышел на улицу, где мой сын с приятелем-японцем катались на двухколёсных скейтбордах. Сын пытался въехать одним колесом на бордюр и прокатиться в перекошённом виде метров двадцать до того места, где бордюр кончался. Он всё время сваливался на полдороге, а его приятель — толстый парень с намного меньшими спортивными способностями — только разок попробовал, сразу понял, что успех ему не светит, и дальше уже оставался зрителем, встав рядом со мной. Раз на десятый сын здорово свалился. А на двадцатый каким-то чудом сумел проехать все двадцать метров и плавно съехать вниз. Я прокричал ему что-то восторженное и с некоторым опасением взглянул на толстого приятеля, ожидая увидеть в его глазах зависть. А тот прямо светился улыбкой — словно это он и был героем. Он улыбался совершенно так же блаженно, как я тогда — под тяжестью руки лесоруба.

Я почувствовал гордость за сына — что у него есть такие друзья. А заодно и за Японию — что в ней есть такие дети. Дети, которым не придётся умирать в одиночку.

39. ВЛАСТЬ НАРОДА

В последнее время появились люди — особенно в Токио, — которые говорят, что родительские комитеты вообще не нужны. Или, мол, пускай в них участвуют только те, кто хочет. Но вот вы представьте себе, а что, если и правда не будет родительских комитетов? Вот что тогда, а?

Уже лысый и толстый, но ещё довольно бодрый директор школы делает эффектную паузу и обводит человек семьдесят мамаш тяжёлым взглядом. После девятнадцати лет в

Японии я представляю себе, что вот вдруг того, что было вчера, завтра раз — и не станет. И хотя, как и все окружающие, комитеты люто ненавижу, душа машинально уходит в пятки. И недаром: слово тайхэн, значащее «полный кошмар», пишется иероглифами «большое изменение».

— Ведь что такое родительский комитет? — продолжает директор. — Это то, что соединяет школу и семью. Соединяет семьи между собой. Это наш с вами долг, родителей и учителей. И вот я хочу вас спросить: за прошлый год вы участвовали в самых разных наших мероприятиях, ведь не всё же было плохо, а?

Мамаши грустно молчат. На каждое идиотское мероприятие комитета требуется как минимум три заседания, каждое по несколько часов, бесконечные телефонные переговоры и куча бессмысленной канцелярщины. И каждый раз детей нужно или пристраивать куда-то, или тащить с собой и сажать в соседней комнате с книжкой, поскольку муж или на работе, или пьёт где-то — тоже по служебной необходимости — и, так или иначе, помочь не сможет.

— Ну хоть что-то же хорошее было? Просто кивка будет вполне достаточно, — несколько обиженно добавляет директор. Одна из мамаш, худая дама с лошадиным лицом, начинает быстро кивать. — Ну вот! Так что давайте уж постарайтесь, ну, то есть будем работать с удовольствием, дело то ведь приятное, но без усилий тоже не обойтись.

Да, вот ещё что. Как всегда, состав комитета определим жребием, но перед тем одна новость. Школа больше не будет покупать тетрадки — теперь вы будете покупать их сами. Почему? Во-первых, есть такие, кто сам хочет выбрать обложку. Мол, «моему тетрадь с кенгуру досталась, а он кошек любит». А кое-кто из родителей хочет вообще без картинки — а то ребёнок учиться не будет, только кенгуру своего разглядывать. А ещё, оказывается, в одном магазине — не буду вам говорить, в каком, это вы уж сами узнавайте — тетрадку можно купить всего за 58 иен!

Опять пауза, но на этот раз продиктованная успехом оратора: неработающий контингент мамаш — японский средний класс — просто свихнут на экономии, и половина присутствующих начинает приглушённо выяснять у соседок, что это может быть за магазин. Когда шёпот стихает, директор передаёт микрофон одной из тех, которым выпала честь быть старостами в прошлом году. С убитым видом та говорит что-то закругляющее про усилия с удовольствием, директор объявляет, что на этом собрание кончается, и все собираются в группы по кварталам бросать жребий.

Мы стоим кругом, и прошлогодняя староста нашего квартала, вконец уставшая тётка, которая ждала этого дня весь год, для проформы спрашивает, нет ли у кого причин, по которым они не могли бы выполнять должность нового главного или заместителя. Вдруг только что энергично кивавшая головой дама с лошадиным лицом заявляет, что у неё в последнее время головокружения, слабость и плохой сон. Главная вопрошает окружающих, освободить её от участия в жребии или нет. Все угрюмо молчат, не глядя на предательницу. В душе у каждой наверняка презрение и страх: шансы быть выбранным теперь вырастут. Я решаю, что пора разрядить напряжение, говорю, что вот у меня вообще в последнее время имеется странное побеление кожи, сильно вырос нос, глаза стали как-то по-инострански округлыми, да и иероглифы выходят все коряво. Все хихикают, а стоящая рядом знакомая мамаша, толстая и весёлая продавщица рыбы на рынке неподалёку, шваркает меня по плечу и говорит, что это пройдёт.

Главная задаёт вопрос ещё раз. Все снова поникают головами. «Хорошо, тогда кто против?» Молчание, теперь уже отчаянное. Лошадиная начинает сконфуженно благодарить, но никто на неё и не смотрит — с этого дня она социально мертва.

Наконец жребий. Женщины по очереди опускают руку в мешок, вытаскивают аккуратно сложенные листки бумаги, дрожа, разворачивают, облегчённо вздыхают, если пусто. Четверо вытаскивают крестики заместителей, что довольно плохо, но ещё куда ни шло — какие-то выходные на семью ещё останутся. Остаётся две бумажки. Одна должна быть пуста, другая с кружком. Я засовываю руку в мешок, замираю. Левую или правую? Я представляю себе следующий учебный год, бесконечные убитые вечера, когда можно было

бы сидеть на кухне с приятелем, играть с детьми в дурачка или просто ничего не делать. Беру левую, развёртываю. Пусто.

— Это что же? Неужели я? — почти всхлипывая, говорит последняя. Хоть и понимая, что ничего уже не изменить, достаёт из мешка последнюю бумажку, развёртывает её тонкими нервными пальцами. Все наклоняются и благоговейно отшатываются, видя в середине листка страшный круг.

А я уже иду к двери — на улице весна, и выборы я проиграл.

40. УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Недавно совсем недалеко от японского города Ибараки, где я живу, поймали молодого парня, который года два был в розыске за убийство молодой иностранки. История для меня — захватывающая. Во-первых, потому, что убийца напрочь отказался объяснять мотив. Во-вторых, потому, что он жил последние год и два месяца в одном городе со мной, то есть вполне возможно, что я его встречал. А в-третьих, потому, что убитая перед самой смертью занималась тем, чем мне, как и любому иностранцу в Японии, самому приходилось заниматься много раз, — давала урок английского. В отличие от меня, она давала урок своему убийце.

Когда я услышал эту историю, я подумал: ну наконец-то японцы перестали дискриминировать нас, иностранцев, и убивают белых точно так же, как друг друга.

Дело в том, что иностранцев, тем более иностранок, в Японии убивают не так уж часто. Нас то ли щадят, то ли не считают в полной мере людьми (или, наоборот, полагают высшей расой — в зависимости от цвета кожи). Так или иначе, рассчитывать на равенство не приходится.

А тут, подумал я, никакой дискриминации — прогресс да и только. Но стоило мне почитать статьи про него, посмотреть записи интервью с его родителями, и я понял, что всё совсем не так. Убийце нужна была именно иностранка.

Попробую сделать зарисовку его жизни, какой я её тогда себе представил. Практически все факты — проверены, а все психологические да культурологические домыслы — мои. Как я выяснил позже, поговорив с журналистом, который занимался этой историей, я не ошибся.

Молодой человек родился в элитной семье. Родители у него врачи, а значит, победители в том японском мире, где всё решает катагаки, буквально — «надпись на плече», или, иначе, — место работы и деньги, которые эта работа приносит. И, как почти в любой семье такого рода, с раннего детства он был пешкой, которую папа с мамой неуклонно и безоглядно продвигали по японской карьерной лестнице. Денег было вдоволь, поэтому после школы он посещал бесконечные кружки, секции да подготовительные курсы, где от него требовалось лишь одно — быть лучше других. Домой он приходил уже под вечер, никогда не играл с друзьями на улице, никогда не ловил крабов в речке возле дома, никогда даже не дрался. А родители — те работали и зарабатывали деньги и давили на него каждый день: учись, мол, становись как мы. Для них он был активом, имуществом, которое нужно было правильно реализовать. Но не вышло.

В одном интервью мать сказала, что её сын плакал, когда умерла его собака, то есть он понимал ценность жизни. Но она неверно трактует эти слёзы. Он плакал потому, что умерло единственное существо, которое любило и принимало его таким, какой он есть.

А дальше всё стало ещё хуже. Поступить в хороший университет ему не удалось, и он пытается найти новую сферу, в которой он может выстроить себя по-новому, найти уважение других и одновременно самоуважение. У него нет ни друзей, которые бы его поддержали, ни семьи. Единственное, что ему остаётся, это искать признание вовне, то есть среди иностранцев. И он начинает строить самосознание на одной основе — основе своей национальности. Он японец. Он умеет рисовать, считает, что у него есть способности к дизайну, поэтому поступает в университет учиться проектировать парки в японском стиле. Там же поступает в клуб карате, чтобы было чем красоваться перед иностранцами. С учёбой

у него плохо, с карате — тоже, поскольку единственное, что учитель нашёл нужным про него сказать, это что он «усердно тёр полы перед тренировкой». Но признание своих его уже не интересует. Он начинает усиленно учить английский. И ходит в парк, ищет там белых иностранок и рисует их портреты, впечатляя их тем, что знает их язык, и одновременно подаёт себя истинным носителем глубокой восточной культуры — каратист, да ещё и специалист по японским паркам. Он хочет, чтобы хоть кто-нибудь признал его вне тех критериев, которые работают в японском обществе. Хочет, чтобы его признала иностранка. Ему кажется, что здесь у него есть шанс.

И вот он встречает свою жертву. Ведёт её к себе домой. Начинается урок английского. А дальше происходит что-то очень неприятное. Девушка, наверное, высмеивает его. Его лицо, или мужские достоинства, или английский. Может быть, она просто смотрит на него не так. Или ему это кажется. И он вдруг понимает, что и этот путь ему отрезан. И начинает бить её. По удару за всё, что ему пришлось вытерпеть от родителей. За бессмысленную зубрёжку, за постоянно включённый в доме телевизор, за то, что на него всегда смотрели как на вещь. Или вообще не смотрели.

И убивает.

Японское общество, особенно те его члены, которые соответствуют идеалу успеха, довольно жестоки. В этих сферах царят прагматизм, меркантилизм и совершенно чудовищное одиночество. Люди развешивают на стенах бесконечные аттестаты, свидетельства о выигрышах в профессиональных конкурсах, рекомендации от высокопоставленных лиц. Они живут всегда одни, наслаждаясь своей победой, но не разделяя её ни с кем.

Этому мальчику вешать на стены было нечего. И он вешал на стены зеркала, много, очень много зеркал, и всё смотрел в них, пытаясь найти хоть одно, в котором он бы себе понравился. И не нашёл.

41. ПЕРВЫЙ ВЕТЕР ВЕСНЫ

Дует первый ветер весны, хару-итибан. Облака мчатся по небу как одержимые, то и дело льёт косо́й дождь, окна в подгнивших рамах дома дрожат так, словно началось очередное землетрясение, и кошки, не находя себе места, то бросаются на улицу, то начинают снова́ть по дому, каждую минуту подходя потереться о мою штанину. Термометр всё ещё показывает семь градусов в комнате, но каждый раз, когда ненадолго появляется солнце, видишь, что краски за окном уже совсем другие.

Я выхожу на улицу. Светит солнце, но ветер пробирает до костей. У магазина на углу ругаются двое служащих. Тот, что постарше, очевидно, работающий в фирме неподалёку, приехал сюда на велосипеде купить готовый ужин, другой, помоложе, — на машине, которую он припарковал прямо перед входом, помешав, таким образом, старшему вывести свой велосипед. Оба в костюмах, для обоих кончается финансовый год, и последние недели две они, каждый в своей фирме, наверняка готовили бесконечные отчёты, праздновали на корпоративной вечеринке проводы прошедшего года, провожали тех, кого начальство решило перевести в другие филиалы, и возвращались домой лишь за полночь. «Ты что это делаешь?» — кричит пожилой, обрушивая тем самым на молодого самое страшное ругательство японского языка. «Чего? Мне что, из машины выйти? А? Хочешь, выйду?» — грозно отвечает тот, что помоложе, довольный возможностью поругаться с человеком старше и выше его по карьерной лестнице. «Выходи!» — орёт тот. Молодой выходит, и оказывается, что он на голову выше противника — средний рост японцев здорово вырос за последние лет двадцать, как считается, от количества выпиваемого молока. Пожилой в страхе отступает на пару шагов, молодой наступает. Некоторое время они ещё стоят, переругиваясь, но не притрагиваясь друг к другу: по закону виноват всегда тот, кто ударит первым. Наконец пожилой уезжает, бормоча себе под нос что-то про нынешнюю молодёжь, а я иду дальше.

На тротуаре японский парень в широких шароварах, кроссовках на толстой подошве, майке с надписью «I ♥ NY» и шлеме несколько раз крутится на голове, потом, всего один раз оттолкнувшись от земли руками, ловко вспрыгивает на ноги, надменно смотрит мне в глаза, делает некий хип-хоповый жест, очевидно означающий, что даже если у него ещё нет «Кадилака» и десятка поклонниц, то завтра (в отличие от меня) уж точно будет, и говорит:

— Check it out!

Я не знаю, что ему ответить, да и на каком языке. Играть роль испуганного белокожего американца, случайно оказавшегося в чёрном районе? Или пытаться честно объяснить ему, что я вообще-то из России, говорю по-японски лучше, чем по-английски, и вообще как бы тут ни при чём? Я так и стою несколько секунд с тупо открытым ртом, потом машу рукой и иду дальше.

Перед старым деревенским домом, чудом уцелевшим в теперь уже спальном районе, стоит старушка и смотрит на ветки ещё не распустившейся сакуры. Ветер такой сильный, что она с трудом удерживается на ногах, но в глазах весеннее удовлетворение: ещё неделя, и она сможет сказать сакраментальную фразу японских стариков, что ещё раз перед смертью удалось увидеть цветущую сакуру. По узкой тропинке через рисовое поле рядом с домом едет худенький парень на модном нынче шоссейном велосипеде. С трудом удерживая равновесие — очевидно, велосипед только что куплен, — он подъезжает к старушке, наверное, чтобы спросить дорогу. На носу у него тоже модные теперь узкие розовые очки, в глазах хроническая уверенность в завтрашнем дне и такая же хроническая неуверенность в самом себе. Последние несколько лет таких парней без амбиций из обеспеченных семей в народе называют травоядными. Парень останавливается прямо перед старушкой, забывает вытащить ноги из контактных педалей и медленно падает вместе с велосипедом ей под ноги. Старушка в недоумении смотрит сверху вниз на парня, а тот так и остаётся лежать на земле, тщетно дёргая застрявшими в педалях ногами.

В парке играют дети, одни в тёплых меховых куртках, другие в шортах и сандалиях. Первые живут в домах поновее, европейского типа, и привыкли к теплу. У вторых — дома прошлой эпохи, и холодный ветер проходит через щели в оконных рамах, скрипит дверями и воет день и ночь.

На мосту стоит девушка лет двадцати пяти в костюме служащей. Костюм безупречно отутюжен, а рядом стоит велосипед с облупившейся краской и напрочь проржавевшей цепью. В её худых пальцах длинная сигарета, девушка несколько раз щёлкает стоиеновой зажигалкой, наконец прикуривает и вытягивает губы, с наслаждением вдыхая дым — наверное, первая затяжка после долгого дня на работе. Весенний ветер теребит её волосы, ткань костюма то и дело прилипает от порывов ветра к телу, а она смотрит вдаль на реку, на танцующие деревья, на повисшее над горами на севере весеннее солнце.

И курит — с пустыми счастливыми глазами человека, достигшего просветления, курильщика, который знает, что эту сигарету, как и эту весну с её первым ветром, он заслужил.

ЮРА ОКАМОТО

ЯПОНИЯ БЕЗ ВРАНЬЯ исповедь в сорока одном сюжете

Многие тексты, из которых составлена эта книга, впервые появились в журнале «Сноб», и автор сердечно благодарит редакцию и читателей-участников проекта, без которых эта книга бы не состоялась.

Издательство благодарит литературное агентство «ELKOST International» за содействие в осуществлении настоящего издания